

A black and white photograph of a stone wall. The wall is composed of irregular, roughly-hewn stones of various sizes, arranged in a somewhat regular pattern. The lighting is dramatic, with a strong light source from the right, casting deep shadows on the left side of the stones. In the upper left quadrant, there is a dark, shadowed area that appears to be a recessed part of the wall or a hole. The overall texture is rough and aged.

СУМЕРКИ · 12 · 1991

СУМЕРКИ - ЗАРЯ, ПОЛУСВЕТ: НА  
ВОСТОКЕ ДО ВОСХОДА СОЛНЦА, А  
НА ЗАПАДЕ, ПО ЗАКАТЕ;

/ВООБЩЕ/ ПОЛУСВЕТ,  
НИ СВЕТ, НИ ТЬМА;

ВРЕМЯ, ОТ ПЕРВОГО  
РАССВЕТА ДО ВОСХОДА СОЛНЦА,  
И ОТ ЗАКАТА ДО НОЧИ, ДО УГА-  
СНУТИЯ ПОСЛЕДНЕГО СОЛНЕЧНОГО  
СВЕТА.

ВЛАДИМИР ДАЛЬ. ТОЛКОВЫЙ СЛО-  
ВАРЬ ЖИВОГО ВЕЛИКОРУССКОГО  
ЯЗЫКА.

РЕДАКЦИЯ:

АЛЕКСЕЙ ГУРЬЯНОВ

АЛЕКСАНДР НОВАКОВСКИЙ.

ОФОРМЛЕНИЕ И МАКЕТ:

ЕЛЕНА ИВАНОВА

АЛЕКСАНДР КЛОПОВ.

ФОТО НА ОБЛОЖКЕ:

ЮРИЙ КОТОВ.

№12

МАРТ - ИЮЛЬ

1991

# СО Д Е Р Ж А Н И Е

## ПОЭЗИЯ ПРОЗА

Павел Шеманин	"Всё, что может случиться..."	..6
Борис Беркович	Три рассказа на прощание	..16
Владимир Губин	Башня /глава из романа "Илларион и Карлик"/	..40
Сева Рожнятовский	Цикады водолея	..117
Владимир Уфлянд	Баллада и плач об окоченелом трупe	..150

## ГЛАСНЫЕ И СОГЛАСНЫЕ

Ирина Рудяева, Александр Скидан	"Сталкер" /несанкционированное введение в поэтику/	..82
Андрей Левкин	Достоевский как русская народная сказка	..90

## ЭТАЖЕРКА /публикации/

М. Непряхин	Яков Коростелёв /рассказ/	..124
-------------	---------------------------	-------

## Апология эмиграции

Из переписки Г.П.Струве и А.И.Солженицына	"...осколком Вильгельмова сердца" /письмо В.В.Розанова П.Б.Струве/	
Василий Розанов. Немножко и радости		..180

## "НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЁТ СРЕДИ ВЕКОВ..."

Вячеслав Белков	Финикийский хулахуп	..158
-----------------	---------------------	-------

## BOOKSTAND

Александр Очеретянский	Из восьмидесятых	..74
"Сумерки" I - II /1988 - 1991/		..170



ПАВЕЛ ШЕМАНИН  
БОРИС БЕРКОВИЧ  
ВЛАДИМИР ГУБИН  
СЕВА РОЖНЯТОВСКИЙ  
ВЛАДИМИР УФЛЯНЦ

# ПОЭЗИЯ · ПРОЗА

Павел Шеманин

Всё, что может случиться...

Родился в день Петра и Павла  
в 1964 году.

Пытался быть музыкантом.

В свободное от музыки время  
писал стихи и прозу.

С 1989 года главное — стихи.

Всё, что может случиться — не больше, чем след  
На слоистом снегу, на зернистом песке.  
Всё, что может случиться — не больше, чем бред  
Перед долгой болезнью, не больше, чем нет.

Всё, что может случиться — светлее меня  
И темнее огня на старинных холстах.  
Всё, что может случиться — прочнее ремня  
И мудрее крика на стене...

... Я ощупывал шею свою, как слепой,  
Я смотрел то на крик, то на тень от крика...  
Всё, что может случиться — длинней, чем любовь,  
И глупее часов на руке старика.

1989

бумага строчки вечер вторник  
 стол графомания февраль  
 ямб бумага строчки вечер вторник ятворник  
 груст стол графомания февраль ямб  
 сино грусть ипохондрия печаль ширка  
 газ синонимы буфет заварка арка троп  
 бесн газ кипяток рифмовка троп арка  
 бессонница колодец арка  
 ночь ночь улица фонарь метро метро  
 люб любовь разлука ревность бритва бритва  
 дух духи одежда спальня сон сон  
 стол черновик монах молитва  
 ста ландо статс-секретарь клаксон машинка  
 рулетка князь лакей записка клаксон  
 лифт лестница подъезд фонарь  
 вино вино графиня одалиска леди записка  
 ночь графомания февраль  
 лифт лестница подъезд фонарь  
 вино графиня одалиска  
 ночь графомания февраль

1990

зачем нам этот постоянный город?

И осенью душа, склонившись над колодецем  
Постылого двора,  
Чихает и бубнит осипшим баритоном.

К чему весь этот двор? К чему весь этот город?  
К чему весь этот я?  
И временная плоть, как постоянный повод,

Как невод бытия для голоса в колодеце  
Петровского двора.  
Белеют доктора на чердаке больницы.

Деревьев флюгера скрипят, как половицы  
Под тяжестью ковра.  
Болеют доктора в прокуренной столице.

Сморкается душа в платки чужих вокзалов  
Над простыней земли.  
Но кажется, и мы в наш город постоянный  
Случайно забрели.

нет, всё не так, как пишешь ты —  
здесь кельвин с реомюром в сооре —  
меж англетеров и асторий,  
среди повитух и понятых.

прости, но мы не так глупы,  
чтоб целоваться на морозе  
и жизнь бросать, как шапку оземь,  
под завывания судьбы.

чтоб гнить в оттаявшей земле  
за два невнятных русских слова  
и на кровавой простыне  
парить под лязганье засова...

нет, всё не так, как пишешь ты —  
здесь имя с Господом в раздоре —  
в тщете судов и консисторий,  
среди нищеты и тошноты.

над заснеженной мечетью провисает мокрый холст  
мусульманский серп тускнеет, соблюдая лунный пост  
минареты, словно трубы; пассакалья из мехов  
выплывает к рavelинам и над лежбищами льдов  
продувает дымный воздух, поднимается к кресту  
ангел, скорчившись от скорби, умирает на посту  
скатерть саваном ложится на холодную неву  
всё готово к погребенью, всё готово к Рождеству  
только завтра встрепенётся хлябь небесного холста  
и сквозь рубище прольётся вифлеемская звезда

Над песочницами утро занялось  
Больные дети молоко и сода  
Не песок а глина дорожная грязь  
До самой смерти Матушка  
До самой смерти

Гвозди в досках блестят  
Градусники холодят нежную кожу  
Больные дети губка и уксус  
До самой смерти Господи  
До самой смерти

Не плачь это день занялся  
А дорожная грязь  
Застынет и пот на груди вытрет мать  
Молоко убежит и жизнь подойдёт  
К обочинам этих дорог  
И будет стоять  
До самой смерти Милая  
До самой смерти

Июль выходит на охоту,  
И солнце прячется в глаза.  
И камень силится сказать  
О вечности. И Летний сад  
Плывёт по набережной. Кто-то  
Пытается идти спокойно,  
Но в воздухе течёт река.  
Крички слепого рыбака -  
Как ангелы, как птицы, как  
Тушь на ресницах. Сфинксы, кони,  
Орлы, кариатиды, змеи...  
Парализованных горгон  
Тупые взгляды. Сонм колонн.  
Сонливых львов тела. Пифон  
Переплывает воздух. Фем  
В весёлых платях. Плен природы.  
Крички вонзаются. Июль.  
Не перепутать бы свою  
Роль пленника с чужой. Стол  
На набережной. С неба кто-то  
Ступает вниз - опять июль  
Выходит, пьяный, на охоту.

проходит время мимо или сквозь  
проходит месяц сквозь кольцо часов  
и в сеть свою себя поймать не может  
красивый итальянский календарь

я прохожу сквозь время или мимо  
я в детстве научился кольца дыма  
пускать пускай нет пусть научат нас  
ловить губами время словно воздух

вбирать в себя и выбрать для лета  
страну и осень для ландшафта осень  
как это море на календаре  
четвёртый месяц

Выходил за ограду, курил с пастухом,  
И соседи свой август везли на базар,  
И на иве от бабушки прятался внук,  
На мосту не разъехаться — скоро сентябрь.

За оградой — мычанье да посвист и зной,  
Скоро осень, но всё-таки посвист и зной,  
Да на иве качели сосед привязал,  
Скоро осень — в округе изменится свет.

В печку кинешь окурок и вспомнишь себя —  
Через год, через пять, через запахи вспять.  
Привязать бы к ветвям это лето, но чем?  
Раскалёнными брёвнами, дымом, детьми?

Ну а вечером... Вечером чистый, как лёд,  
Воздух пахнет мычаньем и посвистом льна,  
И соседи скучают без душевных забот,  
Да на иве скрипит остывающий день.

Где знойный полдень полосуют осы  
 И тишину откосов жнут стрекозы,  
 Где между пальцев белый свет проходит  
 И сумерки в холмах холщовых бродят,  
 Где лето проплывает между осен  
 И мимо отмелей пронесит осень,  
 Где тело тшится заболеть, запомнить  
 Озноб тоски и всё собой заполнить,  
 Втащить в хмельную хижину болезни  
 Весь хлам житья из необжитой жизни,  
 Где для болезни и холстина боли,  
 И хлопок тела - только капли хвори;  
 Где холод хмеля и укроп усмешек  
 Тебя не вылечат и не утешат,  
 Там вечер спустится к мосткам под вечер,  
 Накинет шаль бессонную на плечи,  
 Поплачет, поскулит и перестанет,  
 И хлопья мыла на реке оставит,  
 И с рук твоих загар, песок и глину  
 Сведёт и соскользнёт в ночную тину...

... Где тонут в мхах корявые дороги  
 И мимо отмелей плывут осоки,  
 И молоко откосов пьют стрекозы,  
 И рыжие узлы рисуют осы, -  
 На полотне, в конце тысячелетья,  
 В слянье жарких стёкол, на веранде, -  
 Ты всё-таки стоишь в чудесном платье,  
 Как лето, очарованное смертью,  
 Как жизнь сама - из глины и объятий.

# Метьюре сонета

## Первый

И лето раскрылось на третьей странице -  
Из форточки руку к столу протянул  
Сквозняк-Аквилон. Всё, что завтра случится,  
Вчера уже проклял безумный Катулл.

Четырнадцать строк - две недели. К полудню  
Постель остывает, как белый песок.  
Ты видишь? Прозрачные, лёгкие будни  
Свиваются в шелковый гладкий шнурок.

Куда ты стремишься, безумное лето?  
Неверен твой свет петроградского цвета,  
Невесело ситец сползает вдоль ног,

От века непрочно зелёное платье...

Читаю и всё не могу прочитать я:

Заглавие - Август, четырнадцать строк.

12 июля 1990

## Шестой

Как сладко звенит золотая пчела -  
Лесная блесна на невидимой леске.  
Под дряхлым навесом ржавеет пила,  
В сарае - опилки и лета обрезки.

И чувствует тело сиротство души -  
Когда в темноте перестук электрички  
Над лесом плывёт и в шкафу дребезжит  
По старой, ненужной и скучной привычке.

В такие минуты потребность курить,  
Умение чувствовать, навык любить  
Для тела становятся лишней обузой -

В то время как осень застряла в гостях,  
Как вязнет в постели неделя дождя,  
Как больно ломается месяц арбуза.

28 - 29 июля 1990

### Одиннадцатый

Весёлый комар и под яблоней стол,  
Покрытый клеёнкой, разошедшей за год,  
Пустой самовар, потускневший восток,  
Тупая коса и ржавевший запад,

И запах священного теста, и дух  
Столетнего дома, и рига, и слёзы,  
И спившийся егерь, и пьяный пастух,  
И ворот, и цепь, и осока, и осн -

Всё это смывается в ванной твоей  
В пустую воронку ворованных дней,  
Где наволочки накрахмалены снегом,

И кажется - целую вечность назад  
Тяжёлый от яблок и времени сад  
Сквозь ветви ловил отражения неба.

20 августа 1990

### Тринадцатый

Похоже, что город ревнует тебя  
К загару под северным солнцем, к вагону,  
В котором мы спали, к зелёным теням  
На веках, на ветках, на книгах, на склонах  
Обрагов, к дымку от чужих сигарет,  
К усталости, к боли в ногах, к сновиденьям,  
В которых толются зелёные тени  
И нет никого, даже города нет.

... Мы долго бродили по улочкам этим,

Где раньше играли собаки и дети,  
Где прятались люди от слёз и дождя,

Где выли от горя и мыли посуду,  
Где бились об лёд и молились кому-то  
На улице - вслух, а во сне - про себя.

20 - 21 августа 1990

*Павел Шеланин*



Азиз на тридцать секунд закрывает глаза и смыкает ладони. Потом он достаёт из сумки коренастый, похожий на полуголого раба, до пояса оплетённый кожаными петлями нож и просаживает крышку банки. Крышка режется властным нажимом, как картонная, и только отваливаясь, тусклым дребезгом напоминает, что и жёсть — металл. Азиз салфеткой вытирает с лезвия томат и двигает банку на середину стола. Хлеб не режется, хлеб ломается, чтобы от нас не скрылась внутренность хлеба. Когда режешь, то фасуешь и пакуешь, но брынзу можно — всё равно раскрошится, развалится.

Чайными ложками мы добываем из банки ломкие куски ставриды. Потом макаем в томат хлеб.

— Барис, у нас есть чай?

Чая у нас нет, но есть банка кипячёной воды.

— Ну, как твоё настроение? Чем ты сегодня занимался? Работал? Я тоже работал. Я сделал два левкаса. Ты хочешь прямо сейчас клеить? Может быть, ты и прав, но я думаю, тебе стоит отдохнуть немного. А завтра вместе начнём.

Ночью, при свете из-под двери Азиза, я раскидываю в уме деньги, наши будущие деньги.

Меня будит квартальный репродуктор. Эти шляпки железных желудей висят, как фонари, и охватывают работой всю улицу.

Я не хочу вылезать из сна, как утренняя кошка не хочет лезть из парного подвала на дождливый асфальтовый двор.

Сквозняк хлопает открытой дверью в пустую комнату Азиза. На листе финского картона чёрной пастелью написано: "Барис! Уехал говорить замдиректор музея. Скоро буду." Репродуктор втирает службу сводного оркестра Лен. Военного округа. По сухой предснежной улице возвращаются с демонстрации мамы с маленькими деть-

ми. Перед детьми летят огромные нежные шары.

Я раскладываю ножи, бумаги и всё прочее. Сильнее злости на свою доверчивость мешает работать чужой запах масляной краски. Костяшки трамваев отщёлкивают время. Незаметно замолк репродуктор, первые вопли слышны от кафе напротив. Дверь открывается через несколько трамваев после того,



как я включаю настольную лампу.

— Здравствуй, Барис. Ну как дела? Ты работал? Я тоже сделал много интересного. Дней через четыре-пять мы наладим всё. Я хочу тебя немного порисовать. Не возражаешь? А ты можешь работать. Хотя я бы лучше на твоём месте отдохнул. Кто будет делать? Мы будем. Но не теперь. Теперь ты немного раздражён. Если ты теперь будешь делать вещь, твоё раздражение перейдёт в эту вещь. И если ты злишься или боишься, то всё туда перейдёт, останется и будет вредить. Не вертись, пожалуйста. Так что лучше расслабиться немного и подождать, пока тёмные духи тебя отпустят. Не верти головой. Хорошо, хорошо. Не беспокойся. Сейчас я дорисую, выпьем кофе — я принёс кофе, ты видел? — и будем



работать... Вот и готово.

Разбитый корабль на Азизовой фанере — это я. Действительно, я.

— Ничего, да? Немного темноватый цвет лица. А иногда у некоторых он становится чёрный. Это значит, человеком овладел дьявол. Ничего особенного не надо. Продать парочку друзей — и всё. Кофе не пьём? Ладно, работаем. Вот это делать буду? Хорошо. Ты каким клеем клеишь? Не надо этим. Я принёс такой клей, абалдеть можно. Сейчас тебе покажу способ. Зачем три часа с одним листом сидеть? Мы пока не такие богатые люди. Утюг есть? Давай. Не беспокойся: я делал килограммы бумаги, тонны бумаги. Брось ты свой клей.

Зачем прессуешь? Сейчас просушим — и всё. Ты не бойся. — Я клеил всё. И дерево, и керамику. Могу научить. Паникадило настоятелю делал. Знаешь, чем лучше всего левкасить?

До поздней ночи, когда трамваи уже не стучат, хулиганы не орут — только иногда останавливаются "Жигули", и пассажир нетвёрдо и шумно отойдёт в кусты — до поздней ночи я смотрю, как мастер жонглирует скальпелем, марлей, кисточкой и утюгом.

Сон полон деловых встреч. Продаю агенту рулон трамвайных билетиков и просыпаюсь. Светлый Азиз красит.

— Три картины сегодня сделал. Смотри — это наша долина. Ничего, да?

Долина летит. Вчерашние листы придавлены доской. Я поднимаю доску и сначала не чувствую ничего, как, наверное, ничего сначала не чувствует восьмиклассник, который первый раз назначил встречу на танцах, час гладил белые джинсы, полчаса смотрелся в зеркало платяного шкафа и, поскользнувшись на заблёванном крыльце, упал в мазутную лужу и разбил руки и фэйс.

Я так долго молчу, что Азиз поднимается из своей долины и встаёт рядом. Он сглатывает и просит:

— Пойдём, пагуляем, а?

Гулять у нас в районе можно только до магазина или остановки. Даже первый снег лучше смотреть из окна. Хозяйки отоварились до праздников. Хозяева стоят на тротуаре по трое.

Из зева винного отдела тянется сами знаете что. Сержант в дверях держится рукой в белой перчатке за притолоку.

— Хочу немного напиться сегодня. Давай станем здесь? Эй, парень, отойди ану-ка!

Куда там. Их семь человек. И ещё семь. И ещё семьдесят семь.

Через пустырь, тяжёлый и плоский, как сегодняшнее небо, идём к другому лабазу. Навстречу бегут воспалённые ровесники.

— Ребята, — спраш. они, — что в голубом?

— Не знаем.

— В красном пусто, — доносится издалека.

От красного поворачиваем. Дальше некуда.

— Да, Барис, попались мы. Они опять глупость делают. Нет, не от того. От безбожия просто. А безбожие — тоже от глупости. Это не человека дело решать, что можно, а что нельзя. Когда правительство запрещает употреблять, оно всё равно не может это уничтожить. Оно просто передаёт в руки дьявола. А те стоят и ждут. У них большой карман, они всё поместят. Если это растёт на земле, если это нужно — людям всё равно будет требоваться. Но они пойдут уже к дьяволу, к барыге.

Когда мой брат начал увлекаться черняшкой, он больше ломался оттого, что он, приличный человек, должен ходить за железную дорогу. У нас большие дома, центр, а вокруг — окраина, домишки. За железной дорогой живут все эти воры, барыги. Барыгу все презирают. Если приходит вор, а там сидит барыга, он может сказать барыге: "Пошёл вон!" — и барыга уйдёт. А мой брат мог два часа стоять около этого дома, отдать барыге пятьдесят и ждать, что тот принёс на двадцать. Когда я потерял дом, семью, всё потерял — я вспоминал брата. Если бы мясо запретить, барыга стал бы человечину продавать. Запрет должен тебе сам сверху прийти. Смотри: Голуби! Раз-два-три-четыре-пять-шесть-семь! Семь! Удача!

Изогнувшись назад, Азиз рвёт откуда-то взявшуюся горбушку и мечет булку в закипевшую после первого куска кучу голубей.

Поднимается мерзкий ветер. Клонясь в разные стороны, мимо проходят старики с пустыми бидонами и говорят по матери о хлебе и голубях.

- Идём, Барис! Не унывай!

Дома я сыплю в горячую воду вермишель.

- Я не буду, извини. Нельзя сегодня. Пост. И кофе нельзя. Говорят, Бог посадил три сада. Верхний сад - это христианство. Средний - индуизм, а нижний - мусульманство. Но придёт время собирать урожай и с нижнего сада. Знаешь, как у них будет "Союз нерушимый"? Апчхор Гадалыкум. Сам смех! С бумагой я ошибся немного. Просто не клеил тем клеем, не знал раньше. Скажи, Барис, ты сможешь мне дать какие-нибудь деньги с этого заказа? Ну ладно. Я позвонить хочу. Ты что делать собираешься? Работать? Я насчёт мастерской позвоню и приду. Ключи брать не буду. Закроешь. Мне кажется, ты вчера напрасно на меня повысил голос.

Я закрыл за ним и вернулся за рабочий стол. Взял верхний волнистый лист и стал читать описание краткого жития перомонаха Сергия, который таким словесным даром обладал, что слушатели от уст его висели и боялись, чтоб не перестал.

Ж, красная буквица в истоке покоробленного листа, напомнила мне жёлтую, пляшущую по вечерам на чёрной полированной волне Мойки, под единственным жёлтым окном старого дома. Буквица на волне всегда танцует твист. В эпоху стилиг, и сейчас, и сто сорок лет назад, когда никакого твиста не было, и через сто лет, когда твиста уже и в программе балльных танцев не останется, - только твист. Я лёг на диван. Давно забытая радость одиночества пришла ко мне. В углу стояла и пахла краской чужая сумка, распёртая грунтовыми фанеринами так, что кожа на её карих боках посветлела от напряжения; какие-то рейки, железки торчали из неё, как из-под крышки мусорного бачка.

Я знал, что Азиз не вернётся, и не обидел-

ся, но утром, уезжая на два дня в Солнечное, повесил эту сумку на ручку двери. Снаружи.

Я стою у себя на работе, возле открытого окна, перемазанный грязным маслом, как любой немеханик, вынужденный изредка привинчивать, отвинчивать и смазывать.

Солнце неожиданно заливает желоб Литейного проспекта у меня за спиной, но вошедший не жмурится от света. Он смотрит на меня не мигая, хотя солнце слепит его. Слепит, потому что молоток пролетает мимо моей головы.

— Умойся, Барис. Ты что-то очень смуглый стал, парень.

А молоток лежит на асфальте, возле рифлёной крышки люка с надписью Э.Фрисъ 1913. Возле люка, над которым проплывает оттепелью светлый Дух Христов, шествует в июле Магомет, а весной, звеня колокольчиками, проходит Хари-Радха.

## II

— Мой дядя держал здесь до войны комиссионный магазин. Старое платье. Главный покупатель — крестьянин-поляк. Так что дядя делал. Он брал пиджак и зашивал в подкладку, возле кармана, железный кругляш размером с десять злотых. А тогда это были деньги.

Приходит крестьянин. Меряет пиджак. Так. Тут не трёт, там не жмёт. Нормально. Суёт руку в карман — и лицо его светлеет: жидна нае...л! Он ни минуты не торгуется, покупает пиджак и уходит. А назавтра приходит его сосед.

— Как же так? Ведь он дома распорол... —

— Э-э... Дядя тут жил всю жизнь и знал, с кем он имеет дело. Если крестьянина надрали, то вся деревня должна через это пройти.—

Владлен налил мне, себе и Янису. На дне графинчика оставалось грамм пятьдесят тёмного ликёра. За стеклянной стеной ресторана, на широ-

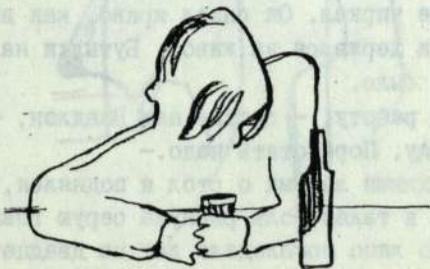


кой пустой площадке, ветер надувал и трепал полосатые тенты закрытого летнего кафе. Два года назад под тентами что-то продавали и ели, а мы сидели в этом же ресторане, лицом к площади, и пили тёмный ликёр, поданный статной официанткой. Владлен так же неровно наливал и рассказывал те же майсы про своего дядю, про послевоенный Вильнюс, про Бродского и Венслову, с которыми он когда-то пил.

Только небо два года назад было или казалось светлей. И не замечал я тогда ни скола на горлышке графина, ни того, что творится у расказчика с руками. А Владлен меня не запомнил. За два года много сменилось пассажиров на этом стеклянном корабле.

Импровизируя на тему сна Гидеминоса и размахивая правой рукой, Влад левой вылил остатки ликёра себе в рюмку. Потом ликёр из рюмки исчез. Официантка убирала с соседнего стола глубокие тарелки из-под харчо. Влад обернулся к ней и сказал по-литовски — официантка повела плечом; тогда он подошёл к ней, вынул из кармана полиэтиленовый пакет и — Боже мой — стал складывать туда кости, куски мяса, что ли. Я посмотрел на Яниса, Янис молчал — он, как всегда, знал, в чём дело. Владлен вернулся к нам, расстегнул молнию полуспортивной сумки и аккуратно уложил туда пакет с объедками. В сумке остро блеснуло.

— Влад, — остановил его Янис. — Ты очень добрый и заботливый. Но наливать своим друзьям почему-то забываешь. —  
— Всё учтено могучим ураганом, — широко улыбнулся Владлен и поставил на стол бутылку водки. К середине бутылки я прослушал ту же, что и два года назад, пластинку воспоминаний об автоматах, где продавали коньяк по полтиннику за стакан, о



Владеновом отце и его именном пистолете, о парторге их газеты, который один ловил в лесу литовских братьев и привязывал их к динамомашине, а в шестидесятые годы, умирая от саркомы, сохся до скелета заживо; о субботнике по уборке развалин Гетто — на субботник вышел весь Вильнюс: искали золото; не забыл Влад и покойную тещу; архангелогорская теща никогда не видела евреев и всё никак не могла понять — почему это он еврей: вроде и человек как все, а вот еврей ведь, и что же это значит такое, еврей? может, это значит пьёт, но не до смерти?

В перерывах я слышал потрескивание, а когда мы с Янисом спускались в туалет, бутылка у нас за спиной щёлкнула по столу, как автостоп.

— Янис, — спросил я, подставляя руки под бесшумный электрофен, — что это за дела с обедками? Ему что, брать нечего?—

— Ну-у, писатель, — усмехнулся Янис, — догадайся сам. Не бойся, Влад не голодает. Он пишет на трёх местных языках всё, что заказывают, и с любого переводит на любой. Это всех устраивает. Газет у нас столько же, сколько у вас, а журналистов поменьше.—

— Как же он пишет, если он пьян всё время?—

— А вот так и пишет. Блокнотик достанет — и пишет. И сейчас, мы тут с тобой говорим непонятно о чём, а он там блокнот достал и чиркает. И водку нашу допивает.—

Но Владлен не чиркал. Он сидел криво, как взорванный дом, и держался за живот. Бутылки на столе просто не было.

— Я пойду на работу, — сказал нам Владлен, — на работу я пойду. Поработать надо.—

Он опёрся пухлыми лапами о стол и поднялся, но тут же упал, и такая боль рванула серую говядину его лица, что лицо помолодело лет на двадцать — и постарело опять.

- Влад, - сказал Янис, - не стоит тебе никуда ходить. Посиди с нами. Ну куда ты пойдёшь?-

- На работу, - отвечал безжизненный голос. - На работу пойду я. Поработаю. -

- А какая у вас собака, какой породы? - уточнил я от неловкости

И тут Владлен как будто узнал меня. Во всяком случае, он на меня посмотрел и ко мне обратился:

- Держите собаку?-

- Да нет, это я так-

- А. Ну пойду я поработаю. - И он действительно встал и действительно вышел.

В тёплой квартире Зигфриды были гитара с японскими струнами и ощущение надёжных стен. Я тренькал на гитаре, а Янис и Зигфрида сидели под тёмным окном за низким столом. На столе стояла доска с какими-то странными фигурками. Фигурки время от времени падали с чётким стуком.

Янис посмеивался - он выигрывал. Много раз он звонил по телефону и либо вешал трубку, либо





спрашивал по-литовски, но нужного ответа, видимо, не получал. После каждого перерыва в игре Зигфрида быстро, с полусутоливой злостью выговаривала ему, откидывая назад жёлто-рыжие волосы и становясь совсем похожей на колли. Последний раз Янис набрал номер и спросил по-русски:

- Лёва, ты толстого не видел? Нет, не Азефа. Да. И не заходил? Ну извини.-

Янис повесил трубку и сказал:

- Пойдём. Его нигде нет.

Зигфрида хлопнула ладонью по фигуркам так, что они разлетелись по столу, и отвернулась. Одна фигурка упала на ковёр. Янис поднял её и положил в карман.

Сырая и мягкая западная ночь ждала нас на улице. Мы прошли по высокому мосту через Неман и оказались в предместье, построенном немцами. Квадратные садики разделяли бледно-жёлтые трёхэтажные дома. Почти все окна были погашены. Янис хлопнул дверью телефонной будки.

- Не берёт трубку, - сказал он, выходя. - Вон его дом.-

Дом Владлена стоял на перекрёстке пустых улиц.

- Блядь, - сказал Янис. - У него свет горит.-

Мимо нас медленно проползла патрульная машина. Дверца приоткрылась, минуту на нас смотрели из тёмной, освещённой только пультом водителя кабины.

Дверца захлопнулась, машина взвыла, набирая ход, - и я понял, чего я боюсь сильнее милиции и тёмноты.

Больше всего я боялся услышать тихий, сдавленный стенами собачий вой. Мы долго звонили в дверь. Никто не открыл, но по мирному стуку когтей, сопению и чмоканию я понял, что Владлен не умер, что он жив и накормил собаку.

# ТЫСЯЧА СЛОВ

Ударники живут хорошо. Прогульщики крадут карандаши. Бетонщики любят свою бетономешалочку.

Американский учебник  
русского языка

I

Урок 12. Шабат.

## Словарь:

свеча	мясо	Благословен входящий
вино	горячий	радуется (я, ты, он - м.р.)
бутылка	поднос	сдача
хала	солнце	часы
красный	опустился	тарелка
прохладный	рыба	начинает
	жена	жить

Задание: Описать наступление субботы в доме Карми (в вашем доме). Использовать лексику этого и предыдущих уроков.

Эзра! У тебя большая семья, но в субботу мы можем устроить весёлый праздник. Себе. Это не очень трудно. Мы сидим за столом в большой комнате. На маленьких часах шесть часов после полудня. На столе три свечи, четыре халы, апельсины, горячее мясо и горячая рыба. Входит старая хозяйка Хана Карми. Она несёт поднос. Солнца уже нет на небе, но есть золотой поднос на столе. На подносе две бутылки красного вина для тебя и восемь белых таблеток для меня. Очень трудно. Зима. На маленьких часах шесть с четвертью пополудни. Это



уже Суббота. Хана делает так, что свеча начина-  
ет жить.

- - Что вы хотите сказать? - спрашивает учи-  
тель. - Я не понимаю.

- - Хана. Делает. Так, что. Свеча. Начинает.  
Жить.

- Разве я не давал вам этого слова? -  
спрашивает учитель.

- Нет.

- Зажигает.

Мы едим мясо и рыбу. Ты пьёшь вино. Я ем таблет-  
ки. Я слышу "мяу", "мяу".

- Что вы имели в виду? - спрашивает учитель.

- За дверью мяукают.

- Кто?

- Видимо, кот.

- Они там по-другому мяукают.

Дверь открывается. Входит чёрный кот. Благословен входящий, чёрный кот. Красивейший из котов, красивейший на свете.

Мы радуемся.

Эра! Я хочу, чтобы ты сказал мне: это один чёрный кот или три кота: чёрный, белый и красный? Кот ест рыб. Рыбы плывут по комнате. Коты едят мясо и рыбу.

Учитель сказал, что я издеваюсь над субботой. Я ответил, что ничего не знаю о ней. Пусть он расскажет. Нет, говорит учитель, рассказывать о субботе можно только на языке субботы, а чтобы выучить этот язык, нужно знать всё о Хане Карми. Но я не хочу знать о Хане Карми. Тогда вы ничего не узнаете о субботе и не должны о ней говорить. Хорошо, я больше не буду. Но, может быть, вы всё-таки расскажете? О чём рассказывать? У нас есть конкретная тема - изучение языка. А это уже получится непонятно что, культуртрегерство какое-то.



## Урок 14. На почте.

Сегодня на почте я встретил дядю Арона. Он тоже Левин, как и я. Дядя спросил, нет ли у меня какого-нибудь самоучителя.

Я никогда не видел дядю Арона.

Дядя Арон никогда не видел меня.

У дяди шишковатый нос и больное сердце. Он едет.

Сердце заживёт, и счастье поправится.

- Здравствуй, Миша! - сказал дядя.

- Я не Миша.

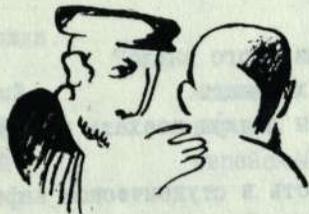
- Как это не Миша? - подумал дядя. - Ты Миша, Миша.

- Как дела? - спросил дядя. - А что ты смеёшься?

- А что мне, плакать?

Вот поэтому среди кмористов столько евреев.

Вот поэтому среди евреев столько кмористов.



Письмо от Эзры.

Вернувшись домой, я прочёл письмо от Эзры.

"Иосеф, ты знаешь, кого я встретил вчера в студенческой столовой? Хану Карми, студентку математики, которую я не встречал две недели. Я сидел и читал газету.

- О чём ты думаешь? - спросила Хана. - Ты даже не замечаешь меня. Ты не рад мне? И почему ты ничего не ешь?

- Я рад тебе, Хана. Но у меня много проблем. Ты знаешь, студенческая жизнь тяжела для меня. Я приехал учиться, но другое у меня на уме. Я хочу рассказать тебе об этом, Хана.

- Правильно. Твои родители живут не здесь. Значит, ты должен посоветоваться с товарищами.

- Хана, я хочу поехать поработать в киббуц. Хочу поработать на земле. Молодому хорошо поработать в киббуце. Есть у меня друг там.

- О чём же ты думаешь? Хочешь поехать поработать - поезжай. Хочешь учиться - учись. У каждого человека свои желания.

- Но я боюсь, что не буду свободен там.

- А что такое "не буду свободен"?

- Это значит, я не смогу делать то, что захочу.

- А раньше ты был свободен? Мог делать, что захочешь?

- Да.

- И что из этого вышло?

- Ничего хорошего.

- Эзра! Ты должен поехать и посмотреть своими глазами.

Я люблю есть в студенческом кафе. Там нет меню и официанта. Там бывает вкусный салат из помидоров, овощной суп и мороженое. Там много студентов и студенток.

Эзра."

## Урок 14 (продолжение) Вызов.:

## Словарь:

конверт	марка	авиа-почта
синий	открытка	приглашать
полоска	французский	приглашение

Приглашение лежит в длинном красивом конверте.

По краям конверта - красные и синие полоски.

На конверте надписи на иврите и по-французски.

В левом углу конверта - квадратное окошечко.

В окошечке напечатано:

СССР, РСФСР, Ленинград, ул.Подводника

Глухова, д.4, кв.78.

Левин Александр Львович

Гидсарут, Рамла, д.8, кв.3

Шур Игорь

Это Эзра.

Дорогой Эзра! Пишу тебе на прежний адрес. Надеюсь, что Хана знает, куда ты поехал, и перешлёт тебе моё письмо. Вчера я получил вызов. Напиши мне, пожалуйста, что-нибудь о нашей исторической Родине. Я покинул её две тысячи лет назад и совершенно забыл, как она выглядит.

## 5.

## Урок 16. Таможня.

Словарь: бедный	богатый
умный	глупый
еврей	еврейский

Постарайтесь найти друзей или родственников, которые, как и Вы, учат иврит. Используя слова урока, инсценируйте диалог с работником таможни.

Беседа с работником таможни (шофёром такси).

Офицер: - Куда вы спрятали золото?

Мы: - У нас ничего нет. Мы бедные.

Офицер: - Бедных евреев не бывает. Бывают глупые евреи. Куда вы спрятали золото?

Мы: - У нас ничего нет. Мы бедные.

Офицер: - Бедных евреев не бывает. Бывают глупые евреи. Куда вы спрятали золото?

Мы: - У нас ничего нет. Мы бедные.

Офицер: - Бедных евреев не бывает. Бывают глупые евреи. Куда вы спрятали золото?

Шофёр: - Куда?

## 6

Урок 18. Куда поехал Эзра.

Эзра был сумасшедшим. Мать Эзры была здорова. Отец Эзры был почти сумасшедшим. Бабушка Эзры была здорова. Дядя Эзры зимой ходил босиком и часто падал.

Эзра ехал в автобусе. Он вёз чемодан и электрический чайник. Электрический чайник очень нужен в киббуце. Киббуц, куда ехал Эзра, находился на берегу Мёртвого моря.

- По-русски это море называется Мёртвым, а в учебнике почему-то Царским. Странно. Ведь там одна соль, - подумал Эзра.

- Оно и называется "Солёное", - засмеялась Хана Карми. - Если не веришь - опроси своего учителя.

- Я боюсь задавать ему вопросы, - подумал Эзра. - Учитель скажет: "Я один, а вас - много".

- Учитель не может сказать ученикам "я один, а вас много".

Если он так говорит - значит, это не учитель.

- Что же ему говорить? - подумал Эзра. -  
Что он должен говорить-то?

- Учитель должен кричать ученикам: "Госпо-  
ди! Как вас мало."

- Эх, Хана, Хана, - подумал Эзра.



Жара немного спала, как будто заслонилась  
тенью. За окном начались горы. Первая гора была  
прекрасна, как свежий и спелый лимон. Вторая го-  
ра была прекрасна, как молодая женщина, выходя-  
щая из ванны. Третья гора была прекрасна, как  
толстая серьезная книга, читая которую, поймешь

автора и забудешь себя; пока будешь читать её — будешь уважать себя. Четвёртая гора была прекрасна, как крепкий день, полный дел, заслоняющих небо, но дела, как ни странно, делаются одно за другим, и к вечеру открывается заслуженное небо. Пятая гора была ужасна. Она сразу заняла всё окно. Её бок был сер, покрыт паршой и струпьями. Эзра не мог не смотреть в окно, и скоро весь мир покрылся паршой и струпьями, под которыми чувствовалось горячее воспаление. С горы плескал, бил в окно холодный, тёмный ветер, гребешки жары на его волнах белели всё реже и реже. Эзра почувствовал, что: слава Богу, не так жарко. Прохладно. Холодно. Лёд.

Ему страшно захотелось, чтобы снова стало жарко, он уже забыл, как пять минут назад вытирал пот мокрым рукавом.

Эзра начал считать:

Раз!

Два! Ну кончится же это когда-нибудь.

Три! Я помню, помню: были и другие горы, значит, и впереди будут другие.

Четыре! До девяти. Терплю до девяти.

Пять! Господи! Это должно кончиться. Должно.

— Почему? — засмеялась Хана Карми. Автобус трянуло. Эзра медленно повернул заледеневшую шею. Место рядом с ним было пусто. Эзра хотел плюнуть, но не смог разжать зубы. Он уже закрыл глаза, когда кто-то из окна положил ему на затылок тёплую руку и заставил повернуться к падающему, разрешающему свет и тепло ставню горы. Тепло ещё не стало жарой. Свет был спокойный, вечерний уже.

Автобус въехал в пустыню.

...

Двери самолёта открываются. Все молчат. Даже ребёнок не заорёт: "Мама, мама, вон дедушка", — потому что встречающих не видно. Подхо-

дит моя очередь. Я спускаюсь по трапу и ступаю на асфальт. Я держусь за ручки чемоданов, как могу, чтобы не выпустить их, если упаду.

Слышны весёлые крики. Это прилетел самолёт авиакомпании Аль-Эль. Он привёз Маккаби из Нью-Йорка. Навстречу нашей толпе от здания аэропорта идёт человек в чёрных брюках, белой рубашке и синем галстуке. Ветер дует человеку в лицо и сдувает, закручивает конец галстука набор. Шагах в 10 от нас человек останавливается и поднимает руку, поднимает ладонь, останавливая нашу толпу.

Он говорит речь.

Я не слушаю его слов, потому что уже слышал их, стоя в майский день на выпускной линейке рядом с Игорем; директриса в чёрном габардиновом костюме никак не могла управиться с микрофоном, и по залу, параллельно зайчикам солнца и весенним взглядам, летели скрипы и свисты, как будто команда перед танцами настраивала аппаратуру.

На лётной полосе, поодаль, спиной к нам, стоит женщина. Я опускаю на землю чемодан и сумку и начинаю проталкиваться. Я спотыкаюсь о клетку с болонкой, меня хватают за плечо, но я вырываюсь и иду. Женщину обтекают, не касаясь её чёрной одежды, шум двигателей, крики и жара.

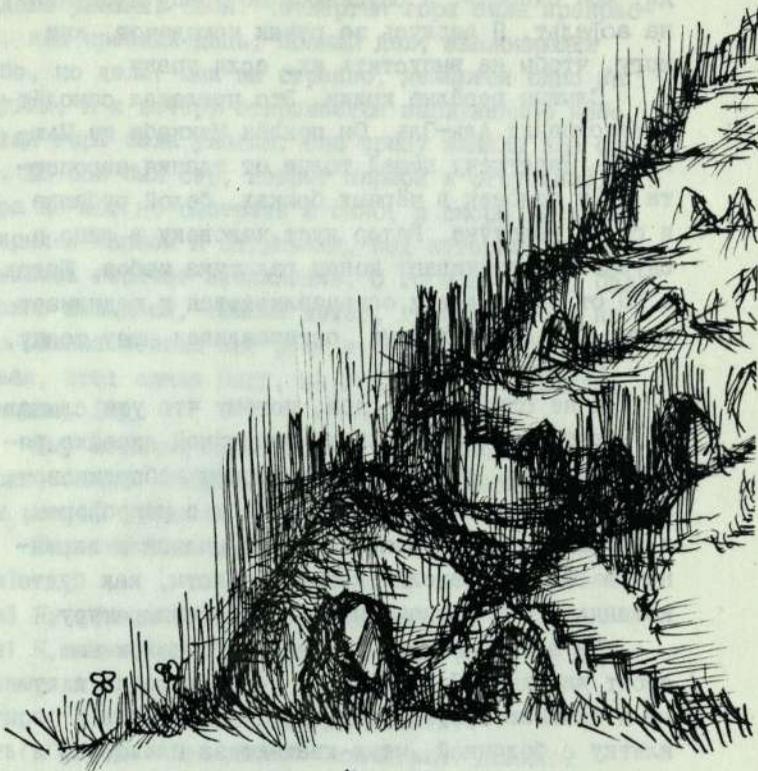
Сейчас она обернётся.

Это Хана Карми.

Борис Веркович /род. в 1960 г. в Ленинграде/ - сейчас живёт в кибуце у горы Гильбоа.

А до этого были:

книга "Стихотворения" /декабрь 1990 г./; публикации в журналах "Часы" и "Сумерки" /№ 6, 1989/; редактирование альманаха "Гастрономическая суббота" совместно с Андреем и Павлом Крусановыми /все 80-е/; учёба в различных вузах /ни один не окончен/ и т.д.



## I

Блохи — вот ураган! Эта сыпучая мгла без единого пятнышка света спешила навстречу тебе — как опилки железа навстречу магниту. Стихия, чиркая, чиркала по носу, настропаяла глаза проследиться, царапала незащищённую плоть, ела тёплую шею, не кашу.

Вторжение длилось ускоренно, длилось оно всего ничего.

Миниатюрные кайзеры вдруг исчезали долой с осквернённых участков улицы так же стремительно, так же внезапно, как и появлялись, однако последствия пиршества блох, анабиоз опрокинутой погранной чести, парша в очаге катастрофы, разбитые рваные бусы, непарные туфли, клочки шевелюр и медали на мостовой, подтверждающая жестокость явления, свидетельствовали мудрецу на заметку, что против орды вампиров ещё нигде во всём индешатнике не придумано средств обороны.

**В. Г. МУЖИГ**

**Башня**



Стихия навстречу падала сверху — фактически стригла вдогонку. Прохожие, застигнутые врасплох, окаменевали с испуга. Но многие фаты события всё-таки фыркали, многие всё-таки делали дико подскоки на месте, рывки на деревья, многие сразу потели, танцую вприрядку пляшущую нервную польку содома, будто бы каждого, кто подвернулся под эту статью насилия, каждого крайне беспечного, кто подвернулся нечаянно, каждого пешего, кто не ковбой, кипятила со всеми другими друзьями-раззявами в облаке чёрного рёва такая судьба, — многие фаты, статисты картины, послушно терпели в аду, когда многие нетерпеливые граждане, делая дико подскоки за порцией воздуха, бились о стены домов или, хуже того, друг о друга. Рациональный рассудок у всех ускользал от обязанности руководить ими. Разум отказывался распознавать обстановку, живая душа взаперти предрекала конец, а повсюду кишела грызня.

Когда возвращалось отишьё, жители города кисли с опухшими сизыми рожами, как у потомственных алкоголиков, и ничего худого не помнили. Мужчины, то бишь и женщины, все пострадавшие, все потерпевшие после нашествия, прятали самые гнусные кадры позора поглубже на дно подсознания. Вам если жарко, значит, у вас это приступ изжоги во рту. Вы наелись извёстки. но думайте сами. кому



потакаете. Пусть у рептилий поверх организма свой собственный панцирь или своя чешуя серебрится на пузе. Человеку доступна другая планида. Человеку зато можно вдоволь успешно кататься по сочной траве нагишом — у человека свой сад, и роса покрывает его листву. Думайте смирно. Блохи не более чем отвлекающий блеф, обращённый в острастку.

2

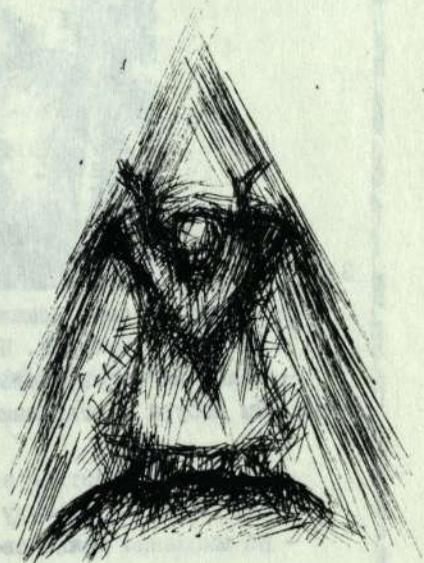
Карлик обвыкся в этой рутине текущего времени, где каждодневно превыше всего ценил утро, когда спозаранок он ещё на боку полусогнутый, полуслепой, полузрячий никто, воскресая, летел из ущелья в ущелье, летел из объятий в объятия без остановки, — не то чтобы долго, не долго, но быстро куда-то летел, — а затем у него наступало само пробуждение, бьющее в ясную голову, точно вино бытия.

Карлика мигом одолевали предчувствия близкой решительной радости, которая вовсе не кончится после того, как однажды начнётся.

Радость обязана произойти без особой на то причины.

Радость обязана произойти без объяснения повода, необходимого будто бы как оправдание к импровизации.

Любые причины да поводы, как оправдания, собраны все под её каблуком.



У независимой радости-максималистки нет обывательской спеси похорохориться на похвальбу, нет у неё родовой принадлежности к авторитетам, ей не приспичило зваться парадно ведущим осколком от общего блага.

Не по замыслу свыше, не вопреки тому замыслу - возникнет она самовольно, как аутосфера по самонаитию.

Готовься, пожалуйста, не пропустить её мимо груди.

Не прозевай - потому что без этого мир истощается.

Мир обернётся тебе на беду заносчивой дуростью.

Конечно, даже травинка, фитилька рядом у ног...

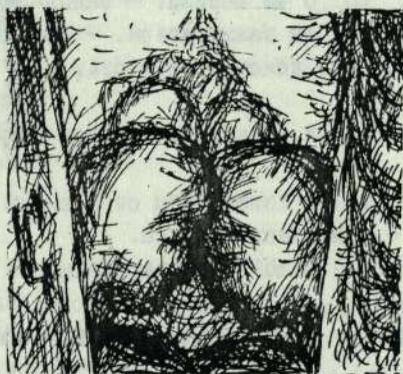
Или какая пичуга, фитилька в объёме пространства...

Как и другие субъекты первейшего права на жизнь, эти кроткие малые стати природы вполне воплощали собой мозаично для Карлика радость умелого существования всякой приватной возможности, были

назло вредоносному сраму борьбы не потеряны попусту, но повернуть или высветить иначе нашу тропу на стезе кустарей таковые примеры насущной фантастики были, конечно, бессильны, хотя не бесплодны.

3

- Внешне вы себя помните? На всякий случай даю подсказку.
- Выслушаю. Булькай. Не помню.
- Малый вы подозрительный, чопорный, твёрдый, короче - носатый. Вы кобура с отливками губ.
- Я?..
- Для начала плотнее зажмурьтесь.
- Это зачем? Я не буду - некстати.
- Но мысленно можно свой профиль увидеть, если зажмуриться.
- Господи, мамочка! - сбоку зевнула фальцетом актриса профессионально взятяжку. - Чего там увидишь? Одни потёмки сплошные, когда зажмуришься.
- Тебя-то кто вопрошает? - осадил её притязания чопорный малый, заслуженный физик, у которого были свои проблемы. - Речь идёт обо мне. Всё забыл - я! Мемуары сколачиваю.
- Примите мои поздравления. Много наколотили?
- Не твоё дело. Говорю тебе, память опустошена, как ослиное стойло, где никакой животины.
- Сдох осёл? Ясно! Тогда речь о той синей двери напротив. Это не синяя дверь, а зелёная. Синь это зелень, а главные люди, впадая в обман, ещё не достигли того понимания чуткости цвета, что синему лучше зелёное прозвище.
- Люди наклонные говоруны, потому что привыкли наклонно шептаться.



Тщательнее загляните...

- Возможно. Та всячина, квазиштуkenция разная, что без оттенка зелёного шарма, не полностью синяя, вы не согласны?
- Чу! - сообщила новость актриса. - Вижу зажмуренными глазами.
- Не верили, долго не верили! - радовался Графаилл, опальный в эпохе поэт, автор идеи зажмуриться. - Вот уже вы себя видите.
- Неопиcуемо вижу действительность.
- А себя?
- Хобот! Отколотый, кажется, хобот у чайника вижу, приветствую. -
- По логике, так и должно. Мы себя видим образно.
- Хоботом? - удивилась актриса.
- Не твоё гиблое дело! - вновь осадил её притязания физик. - Образно - хоботом?
- Или не хоботом, или собранием, или размашистой дыркой на выкройке.
- Тебе паровозной вонью себя ни разу не доводилось увидеть, очкарик?
- Я часто скучаю полынью в окурках.
- Отрава.
- Тсс!.. Или можно брыгайлу зато ненароком увидеть...
- Это какую такую брыгайлу?
- Что за брыгайла?
- Да пёс её знает, она промелькнула в уме, ничего не сказала.





4

Дорога ползла неподвижно вперёд и тащила на себе Карлика.

С утра по дороге к облупленной башне возобладало желание снова прильнуть инстинктивно к оазису неба глазами — доброе небо за дымкой мистического субтумана сулило по связи поддержку, что ты достоверно лицо.

Между ними была напрямую налажена связь.

Это наверняка телепатия, догадывался Карлик, уважая небо за разговор интеллекта с интеллектом.

Издали башня похожа своими горбами на ветхий музейный корабль, умыкнутый на сушу. Среди городской гольтяпы накопился поэтому слух о пиратах, якобы ночью служаки морского разбоя, набывчив упитые ряшки, похитили чью-то фамильную шхуну в расчёте на выкуп, а вскоре, когда надоело сквозь омут овсяного поля волочь её зря за собой на буксире, задумались, ахнули, струсили быть у неё бурлаками навеки под лямкой с чужого плеча. Нелепый слушок это, но всегда так. Апчхи на проклятую шхуну — спасти бы свою драгоценную шкуру.

Нечёткими хлопьями пены вблизи самой башни, мешая сегодня контакту, висели по синему фону смешно там и сям облака. Вдобавок и местные женщины тоже старательно портили небо вблизи самой башни, как оборзевшие домохозяйки вблизи коммунальной прачечной. Дамы кочевья сушили на длинной верёвке по синему фону бельё. Бесстыдство достигло предела. Бельё на верёвке, напоминая хлопья небес, и небесные хлопья, напоминая бельё, застили Карлику весь обозримый космос исподниками да простынями, была теснота, настоящая неразбериха царила. Карлик обмяк и поёжился на демонстрацию

тряпочной прорвы. Будет обидно за принципы, коли предложат афёру переодеться публично во всё не своё после стирки.

Башню воздвигли на счастье народа. Здесь обитали мыслители, самые светлые головы, чья мировая слава бессмертна. Карлик у башни, вообще-то, не пешка, не клоун, обязан отслеживать их изречения, зорко внимать изошрённому вихрю пророчеств и шквалу теорий, блюсти золотой запас опыта жизни светил, а затем ювелирно, каллиграфическими завитками письма, где буквы красуются, что виноградные зрелые гроздья, что скакуны, что премьеры, по зёрнышку переносить это всё на секретные бланки с аллюрами, как ясновидящие рекомендации для государства. Карлик у башни виднейшая цаца — врагом его был оголтелый бездельник Илларион. Однако без экивоков обиды на трудности Карлик изо всей мощи таланта не портил условия службы, которую взялся вести на правах одарённого писаря башни по конкурсу на пол-оклада.

Карлик уже набрал отроду сорок лет с гаком на случай внезапной кончины. Карлик озлоблен, озлобился на шевелюру, которая портится, чешется, жалит его сердцевидную голову мельчайшими хоботками, треща под иголками гребня, как если бы сверху тебе на макушку насыпали молний. Карлик отчасти беспомощно беден, украшен оловянными постными кольцами на руках, одет излишне тепло, не по-летнему, по-шерстяному, хотя не боится простуды. Карлик отчасти довольно богат, если врагом его был откровенный завистник Илларион.

5

Я не осилю сравнить Графаилла с Гомером, а надо бы для научности. Сравнение, как и цитата, подразумевает от автора контекстуально запас эрудиции. Кроме того, помогая дотошно постичь и дотошно простукать у незнакомой тебе новизны что-либо родственное с известным уже феноменом, оно придаёт ещё фронтопись опусу.

Но Графаилл и Гомер, оба слишком оригинальные бестии, не подчинятся, конечно, порядку сравнения. Каждый, копая на свете доподлинно что-то своё, был инакомыслящим, инаковидящим иносказителем. Это не панегирик им, отщепенцам. Это жалоба со стороны хроникёра-биографа на крутизну предстоящей задачи, где мы не сводимы в одно лобовое понятие прямолинейного смысла толпы ни параллелями, как аналогии, ни по контрасту, как антиподы. Здесь игровые потуги добиться сравнения, потуги со стороны подмастерий вроде меня, прино-

сят иной результат.

История не сохранила каптёрку, разрознив архивы. Копирку поэта мы сами куда-то похерили, всё потеряли, пока приходили, потом уходили. Копилку, коптилку. Давайте хотя бы помянем его, как истца на процессе по делу забвения.

Давайте — почешем язык?

Если труды Графаилла написаны были не шибко по-гречески во время, то пресловутый Гомер и подавно свои никогда не записывал.

У Графаилла стихами воспето многое. Не хватит, я думаю, библиотеки районной расставить авангардиста вдоль её стенок, ибо чего только там у него не воспето. Паузы, козыри, козы, кризисы, шурупы, шаманы, трахея, кино, конституция, пшёнка. Вы спросите, как из обычного нашего хая поэт ухитрялся добыть основные слова на земле? Графаилл охорашивал их, отмывал, обрабатывал, организовывал отклики лиры, чеканил образы, смелые, как образа. Что здесь особенно манит учёного? Скользко, скольжение. Трудно, кажись, ущучить из описи материала что-либо такое, чему на катке не подобрали складная рифма, но каждую новую песню поэт обрубал, оставляя вместо последней строки многоточие...

— Слагаю по правилу, — говорил он, оправдываясь. — Эти стихи гениальные, сила моя недомолвлена, чем и загадочна. Благовест окороти на полоску...

Когда вперемешку с огнями спичек и лун у него замелькали, запрыгали, что бубенцы конской сбруи, забегали перед очами тощие белые мыши, которые пагубно расколотили бутылку спиртного напитка, надрались и сели грозить из угла расправой, сила моя, напустился на них обожаемый метр, это вам ахти что! Пьяные мыши полезли на койку под одеяло, — фамильярничая, как однолетки, мыши дразнили, шипали поэта. Вечером он их убрал уже спящих. Он аккуратно за хвостики вынес их из эпицентра скандала во двор и повязался платочком. Если вернуться, не враз опознают, — они, вероятно, подумают, это какой-нибудь практик.

О каждом усопшем изгое не поздно подать апелляцию Господу:

— Трудился, жил, охал...

Это когда жил один опосредственный малый на ниве чего-то банального, скажем, Антон, Иннокентий, Никита, допустим, Орлов или Губин, или вообще никому не известный майор Отечества.

Бессовестно так объявить о поэте нельзя.

Поэту своя пружинка нужна, своя бородавка для некролога.

Дескать, ходил он в журналы.

В альманахе "Темя", куда Графаилл обратился с очередной за-  
явкой, была надежда на публикацию. Была небольшая надежда, но  
два мужика-редактора, крикнув, устроили пышное шествие с его бо-  
родой, потому что плевать им отсюда на ваши заявки, поскольку  
Гомер, если вдуматься, тоже потомкам оставил устно следы. Сама  
борода Графаилла вкуне с улыбкой, зубастой, сверкающей многова-  
лентно, как уличный факел, обычно влекла к озорству любопытных  
обжор-упырей.

- Носили по мере пути вдоль асфальта за бороду, не соблюдая  
ничуть интересы лица, - писал он устало в автобиографии.

Напоследок он, утверждая умы, покорял Олимпийские горы сво-  
ей поэтической мудрости. Бедняга маялся там, окликакая какое-то  
нужное слово, какое в ответ юморно разыграло с ним эпика в эхо.  
Складки, навесы да выступы гор, - они вечные книги, расставлен-  
ные по сторонам, - отрешённо смотрели на канитель.

А когда, как огромный кулак, увесистый камень обрушился на  
Графаилла с убогой ближайшей скалы, поэт, уже падая навзничь,  
отрёкся:

- На фиг я буду творить ахинею плашмя!..

- Узнаёшь? Это наше крыльцо. Входи, не мухляй, ты ни разу там ещё не был.

- Я? Пожалуйста, но - за тобой, на полшага сзади.

Перед окованной медными бляхами дверь башни Карлик опять умолял его, понукая:

- Ну!..

- Нет, - отнекивался двойник. - Я не чую порошка, боюсь оступиться нехорошо.

За дверь квартировал институт-инкубатор оракульских истин или, конечно, рассадник отборных идей, вместилище смеси музея скульптуры по стенам овального зала с аптекой закрытого типа, кронштейны, подставки, протезы, на коих обритуе бледные головы ладили круто высокие думы навывнос.

У каждой такой государственной головы начертан арабскими цифрами спереди по трафарету порядковый номер. У каждой такой головы побелели глаза. Бывшие карие, бывшие синие, серые, - нынче белёдые, как у вороны в укусе, - глаза неопрятно моргали щетиной ресниц. У каждой такой головы нынче не было тела.

По стенам, отделанным изобретательно - прозрачными полыми плитами, стекла в одну сторону горизонтально красивая ровная жидкость и стряпала, как имитация прямолинейного перемещения зала мимо безликих объектов и мимо завесы теней, приятный шумок\*езды. Между панелями шурились импульсы датчиков электропультор, узелки цветного контроля за технологией, за процедурой. Вся здешняя коммуникация вбирала в отсеки своей сверхъестественной хитрости ваш обострённый слух и раздваивала восприятие звука. Вы, кажется, слышите всё, как обычно вы слышите происходящее. Вы слышите шум этой странной системы, слышите чётко шаги, различая свои среди прочего шарканья, слышите чьи-то слова, голоса, понимаете внятную речь и в то же время находите, что на какой-то, наверное, провозглашающей вечность, одной непомерно растянутой ноте за вами крадётсЯ по залу стерильная тишина.

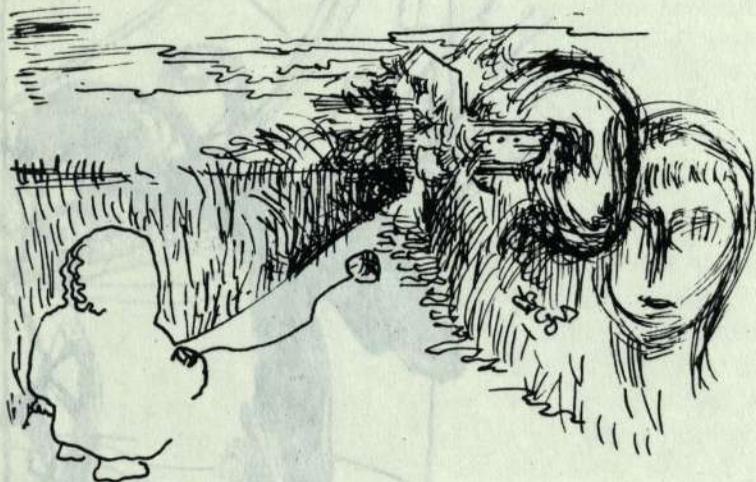
- Каменоломня тупая, не знаю, как ещё лучше, чудак, обозвать у тебя холостяцкую лысину...
- Мой послеобеденный сон актриса переманила себе...
- Мне своего недостаточно, да, - вздыхает актрисина голова.
- Мне подавай, что чужое...



- По вашей капризной милости, детка, хронически бодрствую.
- Кому подавай что чужое?
- Мне! - кричит остаток актрисы. - По моей милости.
- Девкина ты перепонка, - дразнится в адрес актрисы восьмой номер.
- Эй, Карл, объявите хамью замечание, пусть он извинится, пусть извинится, - просит у Карлика помощи голова Графаилла.
- Что-о? - надуваются щёки восьмёрки. - Что-о, колбаса ты стервячья?
- Ни что, - голова Графаилла робеет. - Я думаю, надо пойти на такое мероприятие. Сейчас извиняешься ты, потом я, потом оно так и начнётся по кругу само. Хочешь?
- Асимметричный картофельный шар, я давай пожую для размеса харчок и направлю тебе в оба зрака.
- Не хвастай, не справишься правильно харкнуть.
- Я не справлюсь? Я, было время, плевком оппоненту мозги вышибал.

- Игра в извинения? - встревает актриса. - Bravo! Чудесно придумано! Могу первая попросить у вас извинения.

- Вы? - сомневается голова Графаилла.



- Да! Кто следующий? Мимика стен утомительна.

- Бросьте. Нельзя вам. Я без штанов, а вы дама. Неловко.

- То есть? У вас обнаружена грязная талия, папа, **хотите** сказать? Угадала? Почему же неловко?

- Грязная? Ладно. По мне всё равно, лишь бы что-то. Грязная талия, грязные голени, грязные фиги...

- Мул мысли, ты врешь! - опроверг охальник, ехидный восьмой номер. - Из-за тебя, негодий свинаренко, разговор оборвался на полуслове.

- Какой разговор?

- Я вёл его с этой, которая вся косоротая. Тебя не касается.

- Не буду мешать.

- Я, дорогая моя сикараха, когда-то сразу две талии носил. Одна была талия скользкая после свидания с дамами, как у змеи.

- Не буду мешать, я спую.

- Песню про фиги, пошляк?

- Я не пошляк, я фигами смахивал слёзы.



Карлик успел уклониться, не принял участия в их ассамблее, пошёл обживать одноместный служебный солярий по левую руку. На пороге солярия подслеповато прищурился, зажёл электричество люстры, чтобы не стукнуться лбом о средства пожаротушения на пути. Люстра, жар-птица прогорклого серо-зелёного света, не доставала худенькими лучами до всех углов этой кельи, где сверху стекали по сводам отдельные тёмные пятна, скользящие, жирные жидкие звёзды. Теплолюбивому писарю было всегда хорошо в этой пещерке, всег-



да хорошо, как амбалу на пологе сауны после наружной морозной работы.

Карлик являлся в глубь этого влажного дая в окоп, и в окопе садился на кресло за письменный стол, и давал отдых ушам и рукам, и рукам особенно. Способные, полиспособные руки вели себя дерзко вне башни. Руки вне башни меняли местами различные вещи, вещички, чистили нос или чистили бешено шкуркой посуду, чертили задиристо рожицы-буквы на белой бумаге в экстазе сотворчества, собаловства. Работоспособные руки носили на коже, куда ни посмотришь, узоры морщин и корявые шишки мозолей, зазубрины трещин и

шрамов. А шрамами руки покрыты не хуже бродячей собаки. Руки могли прокормить и снабжать информацией накоротке, наподхват и наощупь. Они были, конечно, как и глаза, продолжением универсального мозга. Не стыдно похвастаться перед оравой мыслителей, кто постоянно за стенкой работал одной головой при нашесте.

Канторское кресло-качалка с амортизаторами не предусмотрено Карлику здешней хозяйствью по смете, — впрочем, если бы жирная часть умечки предусмотрела такое сокровище, то всё равно закупить его было бы негде. Старинная мебель, антиквариат и другие внесметные редкости мира сего попадают только на мусорной свалке за городом, и только на свалке могут они сохраниться в отбросах утешно до звёздного часа. Всякая свалка своими размерами характеризует эпоху. Наша махровая свалка, надо сказать, охватывала собой территорию больше самой территории нашего города. Вы спросите, где мы живём? А здесь и живём. Одичалый такой городишко близ архипелага помойки. Столица помойки. Профессионалы поковыряются на ней допоздна катастрофически богатеют, и кладоискателю Карлику тоже порой выпадали на долю счастливые залежи. Фортуна сперва подарила на свалке возок, а не кресло. Крытый компактный возок, оснащённый рессорами против измота дорогой при длительной качке по кочкам, — упругая сталь и тугая воловья добротная кожа, соединённые вместе в одной задушевной затее безымянного мастера красоты. Когда созерцаешь эту находку, включаешься молниеносно в алхимию переживаний того баламута-каретника. Переживая победу, Карлик очистил изъяны поверхности щёткой, выскреб ил и песок из отверстий, снял язвы ржавчины, вымыл, обтёр и перестроил удобства шедевра по-своему под индивидуальное кресло, которое напоминало большое гнездо на рессорах, ёрзай, дерзай.

7

Здравствуй, рубаха-народ! Я тебя жутко боюсь, утешитель и вечный мой путаник, ожесточённый погонщик, едва ли не самый наби́тый дурак. Я только-только родился немного, когда краснорожие дворники, золотари, горлохваты, грязца налетели меня совратить, оболгать, увести в услужение маниакальному вывиху разума, будто бы мы на крючке. Мы на крючке, как объекты собственности народа, ради которого каждому простолюдину, каждой напористой поросли предоставляется тщательный выбор: или среди толкотни-трепотни

быть убитым, или же стать образцовым убийцей. Но мне-то что делать? Я не дерьмо, не палач и не жертва.

Дадут ещё слово, скажу вот о чём.

Я чист от амбиции вечно своими стопами мозолить уголья планеты, слушая твой приказной, проникающий мне до кишок, оглушительный вопль о Родине...

Мы любим её, потому как у нас она меткая!..

Мы любим её, потому как у нас она самая крупная!..

Скажи мне, красавец, а разве не крупную Родину граждане меньше готовы любить? Или для них она разве не Родина-мать? Она хуже?

Твой прагматический патриотизм унизителен.

Я люблю Родину честно, - думаю, пусть у неё больше будет одним из её сыновей. Мне себя заживо не вразумить относительно пользы во мне после смерти. Верю в имущее время, которое ткёт очевидную жизнь, ибо сейчас изобилует яблочный день, - и ни во что не такое не верю. Думаю, благо моей предстоящей кончины заклкчено в её несовместимости с этой минутой столетия. Смерть это как? Это что за поклёп ещё в яблочный день? Я смертен не хуже других, но пока я живу - запрещаю меня убивать.

- А на каком языке сочиняешь эту мигрень? - ужаснулся двойник.

- Этюд о любви?

- Кому? Народ, а с этой пролетарьятчиной тоже нельзя не считаться - побольше повесть обозлён.

- Уточни - кто народ.

- Основные нули населения, прачки, жестянки, разные рикши, кто не жокеи-наездники, все мы народ. Или нет?

8

Хирург - это душедробильная боль, а не миф и не шкаф. Он умел экстремально трясти подбородком. Отрывистый, властный породистый жест его подбородка снискал ему среди молодёжи славу борца за высокие принципы. Среди молодёжи никто не задумывался насчёт его принципов, о чём они повествуют, если, конечно, содержат ядро вероятности смысла. Для молодёжи, кому, по несчастью, нужны свои вождь, и пахан, и другие ведущие старшие куклы, главное всё-таки жест, а не сами бумажные принципы столбиком.

Идол и лидер, он осыпал ассистенток, особенно рыжих, особен-

но русских, особенно темноволосых, особенными комплиментами, трагил изрядно купюры ночами на выпивку, но часто по пьянке наглед, угрожал ампутировать у собутельницы пуп или даже дрожащий кадык, обещая семь раз отмерить аршином от ягодич, — обходились его приставаания сравнительно благополучно, как оргии без инцидентов, интересующих уголовную хронику, но молодёжи, парням, это хобби нравилось изобретательностью.

В академическую больницу, где врачевал, ему пофамильно везли на колёсах, и на санях, и по воздуху разные страсти-мордасти. Со всей страны круглосуточно предоставляли хирургу замученный хворьями люд, у которого не было вовсе дальнейшего вида на жительство. Свою клиентуру хирург оценивал однозначно. Для воссоздания погибающей популяции хирург отыскивал у пациентов органы попредпочтительнее, поздоровее. На запасные части. Затем из этих обрезков, искусно сначала разрозненных, а потом искусно соединённых и заново сшитых, у него под иглой получался весьма человек-ассорти. Жилец, у которого были свои только шрамы. После недолгой поправки сборные монстры самостоятельно двигались и покидали насиженный стационар. Обнюхавшись, идиоты легко находили себе применение в обществе. На пристанях и вокзалах они грузили, ворочали тяжести. Невозмутимо покорны, тихи, как яйцо. Но возникла проблема. На каждого супера претендовало по несколько жён. Осады, скандалы, судебные тяжбы. Завидя в этой копне сочленений любимую кисть, или кость, или веко того своего мужика, дамочки не признавали себя по закону законными вдовами. Хирург отступил и сыграл ассистентам отбой.

Но, бросив опыты по трансплантации липкого скользкого ливера, хирург окончательно революционную практику не прекратил. Он обратился к идее спасения мозга. Так и была создана корпорация разума. Была создана сия башня, куда водворился в итоге своей головой зачинатель её пиетизма.

Правда, хирург упирался туда поселиться, но получил указание.

Мозг его был ещё нужен, а сам он уже незаметно спился.

Тело хирурга земно погребли на задворках улицы.

На камне штыками набили надгробную справку.

"Хирург. Одна мёртвая туша, кроме заглавной конечности разума".

Штыковые шеренги нахальных юнцов у могилы трижды сверкнули по чьей-то команде свежо подбородками знаки салюта.

Приглашаются первопроходцы.

Вступившие в Общество членами первый существенный кровельщик-ябеда, первый глашатай-заика, первый тихоня-солдат и первый калека-слуга, безразлично, что бякостный, на костылях, абы первый, решили собраться на Первый конгресс отношений. Закуплена добрая тысяча банок икры. Но конгрессу нужны пулевые слова. Надо краснó говорить, а собраться бесславно молчком и разъехаться тоже молчком, это значит испортить обедню. Поэтому первые люди просят у Башни пожертвовать Обществу тезисы для стержневого доклада. Карлику стало смешно. Писарь улыбочиво соображал им ответ. Ешьте пленарно всю тысячу банок икры тихой сапой. То, что безмолвно в акустике, вовсе не значит ещё, что бесследно в истории.

Сам он обедал умеренно.

Сам исподтиха питался зацёшево морем, — ел ежедневную пищу, не чувствуя слезки, — черпал из этой лохани посредством омывочного ковша немного селёдок.

Иначе, просто солёной волной, сыт оттуда не станешь.

А между тем у восьмого номера был интерес и была привычка подглядывать, ежели Карлик, ужорливый промысловик, обедал. Они столкнулись однажды глазами. Серые зенки писаря вникли нечаянно в острые дырочки номера, будто бы там огоньки, не заглушки, не запонки. При столкновении бедный восьмой поначалу сконфузился. Бедный восьмёрка сконфузился плохо, не пряча тоску по жратве. Карлик и сам оплошал. У Карлика дрогнуло что-то внутри пищевода. Как окаянный, застигнутый за недозволенным актом, он отшатнулся. Зубная понурая дробь у восьмёрки заставила Карлика возненавидеть еду. Но мы — виноватые мелкие сошки, лишённые выбора. Все мы, — лишённые выбора, мелкие сошки да мошки, — закарканы, забарабанены, завожжены. Считая себя виноватее всех, он отважился на благородный поступок.

Карлик отважился на благородный подлог.



## II

От обитателей башни страна получала тружение?

Карлик, отзывчивый малый, тайком обеспечивал этим обрубкам алиби, гипнотизируя всё государство своей привлекательной мудростью. Лысая гиперколлегия тратила время на мелкие склоки. Сами затворники существовали взаём у ничто, но Карлик, отзывчивый малый, на свой страх и риск исполнял их обязанности по руководству народом, один отдувался за всех.

И хотя человеку страны за такие заслуги положены всячески почести, Карлик имел исключительно горечь убытка.

Прохожие города, как и соседи, сопостояльцы по сумасшедшему дому, взирали на Карлика свысока.

Мол, утром утино куда-то вразвалку ползло мимо них обезжиренное вещество.

Не такое весомое, как они все, не такое весёлое, мол.

А посему нет у них и вопроса, что делать, или заискиваться перед его проползанием, или набить ему харю, да так и закончить интригу.

При входе в автобус упрелая плотная масса народа лужгала семечки, тискала Карлика справа, больно давила на сердце слева, лезла вперед и рычала. Масса в автобусной хляби согрета не столько совместной душевностью, сколько совместной повышенной температурой своих испарений. Дыша на тебя, вся стоглавая гидра через открытые пасти вонючих утроб извергала наружу горячую химию кислого запаха вин и чесночного кислого запаха. Масса рычала какие-то псовые лозунги массы, не понуждая себя догадаться, что потной слюнявой страной пассажиров и семечек исподтишка верховодит инкогнито Карлик. Естественно, Карлик, общипанный мякиш автобуса, не раскрывал обывателю тайну, военную тайну во хляби, что сам управляет армией. Но двойнику тет-а-тет иногда хмыкал едкое:

- Чувствуешь огонь? Я чувствую...
- Сбоку по курсу гляди... В этой давке...
- Слухач?
- Я говорю, не расплющи старуху...
- Не перекладывай мне своё хамство.
- Ты мокр, а мы - сохни...

В общем, у писаря не было власти. Писарю не дали грядку на том островном огороде, где вырастают арбузы крупнее быка. Поэто-



му здравье, как озарение, как откровение, честные, частные, частые, чистые мысли, которыми Карлик от имени башни снабжал инстанции, теряли сперва свои праздники, здравые признаки пагубно в этих инстанциях, откуда затем, искажённые, переименованные редакторами газет, они поступали рычащей толпе, чтобы та растащила по закуткам их останки для перемола в ярость агрессии. Бывало, что метаморфоза духовного фонда происходила по-разному. Не всё до конца мы бросали на плаху бездарности. Кое-что временно было нарошно забыто.

Бездарность это часотка, не излечимая никакой мазью книжной мази. Всепобеждающий зуд её неограниченно распространяется долу. Но ради поблажки трудящихся зуда нужны руководству свои толкования веры. Что сторяча наработано — фарс или фарш. Оправдательные мотивы бездарность ищет и часто себе находит у недобитых ею теорий приличия. Тогда, например, обыкновенный хлопчатобумажный паёк объявляется косвенно шёлком, и всё население радо в одежде хлопчатобумажного шёлка.

— Эй, где бабуска?

— Как это где? Потеряли.

12

Карлик отстаивал антикандальное право людей расковать языки. Творя докладные записки наверх, он от имени башни долбил и дразнил инстанции выгодой вольного слова. Там от его гуманизма, наверное, все наконец угорели. Родился декрет обязательной гласности. поголовно всему населению было предписано думать о чём-либо вслух, а не молча. Кайся по форме за содержание, какая растёт у тебя теверовая нота по смуте.

С утра бегут и бегут орущие люди, тревожа захарканный город, орущие, словно поблизости где-то воспрял от окурка всемирный пожар или близко бушует иное стихийное чёрное зло. Каждый крикун, охваченный паникой бега, несётся куда-то спасти себя первым. Ослабление паники наблюдается пополудни, когда постепенно притерпиться к этому шуму, перестаёшь озираться на всех и взамен истерии слышишь оскомину жалоб. Архидискуссия длится намного спокойнее вечером, она тогда больше похожа на дождик, урчащий по кровле пустого сарая притуплённо.

Купите, купите — кому куропатку по чертежам, а кому как

угодно! Плешивость у лысых обязана скупости лысых, аскезе. Послушай, приятелей бьют и незнамо за что по-приятельски, но как адвокат адвоката — взыскую конкретно за порчу седла и весла. В отпуске тёщину дачу покрашу, галошу заклею жене, подрасту. Кино посмотрели правдивое на запредельную тему, пряжка не вся золотая, но чья-то корона там отражена. Суки, подельники, тёзки, вчера бормотухи бутылку сожрал, а зовут Эротим Алексанч, упойная сила большая была, понимаете? Значит, отвислое — тоже пологое! Стыдно старухе рожать ещё двойню, беда мне. Сам иностранец, я иностранец, у нас Иностраня — блохи, которые здесь обострённые, точно шприцы, незнакомы. Всю крупную сумму вернули, нашли на втором этаже, потому что, спасибо, сосед обобрал, а не вор отыскался на кражу. По мере сопения сон исцеляет астматика на полблезни...

Порой возникали немые собратья по галдежу. Немыми среди горожан юридически признано племя тупиц, у кого пустота насчёт умственной сферы не позволяет опробовать им их извилины мозга на слух. Освобождённый законом от этой почётной повинности, высуну хвост языка по-собачьи на ветер, оповещай белый свет о себе специфическим образом, если дурак! Отбросив амбицию, Карлик учился тогда плутовски на дебила, — замаскированный под идиота, носил он язык обнажённо, как они все, даже лучше, чем они все, — вызывающе, точно цветную заплатку на флаге, держал он язык удало набекрень, отчего лицо симулянта деревенело, душили позывы на рвоту.

13

Как-то раз утро наслало на город анестезию безветренной майской жары, что деревья под окнами скрижились. Искусственные деревья, — деревья живые, но вялые, как искусственные, — старчески скрижились. У Карлика на жаре вес его разомлевшего тела тоже достиг уровня старческой неуправляемой тяжести, когда горожане, вполглаза лениво галлицинируя, ругали вполголоса климат удущья за проиisca вящего сна. Все горожане в удущье подвержены злости, но Карлику в этом аспекте сегодня везло, потому что сегодня какой-то случайный мальчишка навстречу смышлённо тащил интересную кладь. Язык у мальчишки, что было не менее дерзко, чем интересная кладь, оказался не робок. Язык информацию на люди не выдавал и не трясся паскудно снаружи слюнявой свечой. Мальчишка не тратил усилий на посторонние внешние трудности. Шагом авгура, несмотря

на такую погоду, мальчишка тащил аккуратно в авоське, наверное, лунные камни камину. Сразу втемяшилось их обаяние, вспыхнуло чувство своей сопричастности.

Карлик отверг эмиграцию совести, спрятал язык и разразился пронзительно свистом.

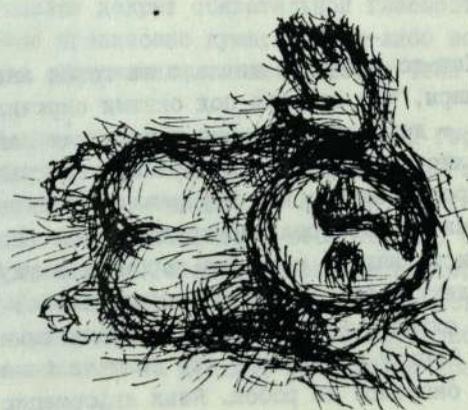
14

Среди суматохи насыщенного мордобоя Карлик умел упадать из окна непоруганным еkkлeсиастикой.

Среди провокации липовых истин и ложных или сверхложных идей. Среди торжества дисциплины товарищей по топору. Среди всенародного вопля товарищей в очередях у прилавка на торжище. Среди помрачительной гонки наперегонки в обустройстве нашего быта, где сколько туда ни тащи добра, сколько реликвий ни вкладывай по каталогу, чтобы жильё засверкало не хуже, чем у соседа, но всё тебе кажется мало стяжательства для перевеса тщеславных утопий. Среди беспощадной потравы толпой твоего персонального времени. Среди миражей любил он упадать из окна в остановку на перекур.

У некурящего Карлика существовала манера блюсти перекуры на дереве.

На дереве можно донельзя расслабиться. Карлик, инкрустированный сетью светотеней, поощрял естество на здоровье дышать атмосферой. Внизу, по земле, что-то дружески бегало.



Там или грибник, или дачник, алкаш, или кто перемещался по лесу ретивой рысцей вдоль овражка пружинисто на четвереньках — он исполнял это действие, не мельтеша, напрягая четыре конечности поровну, как ягуар, у которого хитрое тело всегда начеку для прыжка. Завидев его со своей высоты, Карлик искренне хмыкнул. Опознанный, тот огрызнулся на Карлика нехотя. Шельма, дабы не создать обострения, далее мускулатурил уже вертикально по выбранной ранее трассе, задействовав обе ноги человечески поровну, как у возможного стайера, фрайера. Карлик отметил обидную разницу между спортсменом и четвероногим. Утративший прежнюю горизонтальную спесь, ягуар оказался довольно пузатым, обрюзглым опарышем из активистов, а праведный бег у него выходил изнурительной пытошной драмой на лоне природы. Земля, не пуская, хватала за тапочки. Было не ясно, на что полагаться. Ну, скажем, опушка недалеко, — скажем, опушки достигнет он или падёт у ближайшего пня.

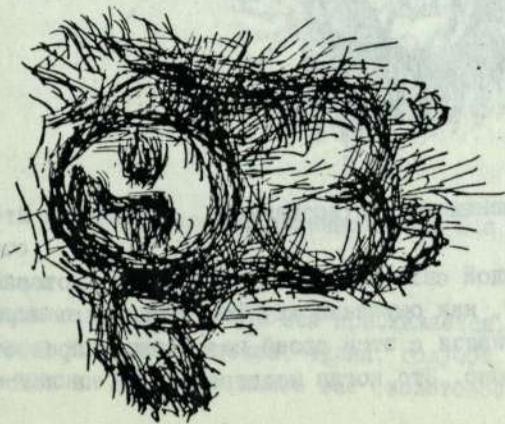
Будто в яре подневоля, толстяк истязал обветшалое тело на выбранной ранее трассе по грязной раскисшей тропинке, петлявшей назло, как извилистый шрам у планеты, которую мы бичевали, загадили щепками, стружками, струпьями леса.

— Гнёздышко тёпловое на зиму вьёшь? — он оправлялся напротив убежища Карлика. — Привет! У тебя на дубу какой титул?

— А вы что за фрукт? Осьминог?

— О себе скажу всуе. Монарх.

— И не самозванец?



- Иные, по мягкости крови, пренебрегают удобством инстинкта. Касательно лично меня, чувствую почвенность антропофагии только на гривенник, если не бегая на четвереньках. Если не бегая, мне возвращаться домой неохота. Давай любовно полиземся...

- Как это? - Карлик уже догадался, что перед ним сумасшедший.

- Ну, любовно простежки на пользу мне, понял?

- Отпадает. У меня вирусный грипп.

- Я тебе никогда не прощу...

Пятно полинявшей спины сумасшедшего странника снова поплыло по мелколесью.

Карлик от ярости негодовал - иноходец испортил ему настроение.

Карлик от ярости, не находя себе места, вскипел и расхлябанно дёрнулся вбок. Это лютое бешенство повлекло за собой наказание. Но, падая с дерева в тартарары, писарь услышал обрывки добротного женского смеха - ласковый смех, если верить ушам, отражал изъявление радости женщины, что верхолуб ухватился за гриву какой-то спасительной ветки, повис, а не грохнулся наземь, и, стало быть, ум у него не разбит.



О женщинах - откровенно.

Прячут они под одеждой свою метафизику хрупкости, которая свойственна слабому полу, как ощущение хрупкости внешнего мира. Благодаря нашей взаимопривязи с этой своей половинкой, предоставляется нам осветляющий шанс. Это когда подстрекаем её на потомство.

Когда мы подстрекаем её на потомство, мы подстрекаем её передать ему навыки нашего зла, — когда мы подстрекаем её передать ему навыки нашего зла, мы подстрекаем её передать ему внутриутробно вселенское зло, — когда мы подстрекаем её передать это зло, неизбежное будто бы по своему фатализму, необходимое будто бы для долготлетия, мы, полновесные жлобы природы, вульгарно застенчивы, не признаёмся, что всякое зло на земле как-никак изначально мужское.

Но благодаря нашей взаимопривязи предоставляется шанс искупления нашей вины дикарей за минувшие войны, за причинённые тяжкие беды, за надругательства, за надувательства, за разгильдяйства, за членовредительства, за красноречия, за сквернословия, за малодушья, за пьянки, за пенки, за карты, за фомки, за недостачу, за недозакваску таланта мужчин у мужчин. Единственный предоставляется шанс. Угмонить у себя сто страстей можно только дозволенной женщиной.

Карлик интуитивно выбрал однажды себе недурную невесту среди невидимок, общается с этой красавицей на расстоянии внутренним оком, а встретиться по-натуральному не доводилось.

Джери Кровенно.

Эта заочница целенаправленно где-то все прошлые годы жила для него.

Ждали случая.

Наконец она вот — она вся приближается.

Новые кофточка с юбкой, чулки, голубое, зелёное, жёлтое, синее, красное, чёрт-те какое всё фиолетовое.

Карлик узнал её. Приближаясь, она танцевала круги по траве на поляне. Гордо красивая без оговорок, она была самая нежная дура, как он её некогда выдумал. Она превзошла себя. Будчи нежной, послушной, как он её выдумал, она себя сделала много нежнее, нужнее, чем он её выдумал, а по кондиции хореографии, где на поляне существенно развеселился мобильный волчок или кем-то закрученный красочный вихрь, она полностью перехитрила кругами крикливую выдумку.

Зелёное, жёлтое, светлое молодое создали свой колорит антуражу спектакля, гася напряжение.

Главное женское новшество — что фантазийная женщина, как оказалось, имела себе два лица, подкреплённые чёлками, — не потрясло неожиданно Карлика. Тот осознал её степень отличия, как уязвимость инакости. Затылок отсутствовал, ибо мутантка вписала второму лицу второй лоб, а вместо спины завела себе тоже вторые, но тоже нормальные женскую грудь и брюшко. Правда, вторыми по счёту назвать их уверенно Карлик остерегался. При двух одинаковых органах это понятие счёта слишком условное. Где, например, её зад? И перед — оба переда.

Без инструкции не разобаться, кого тебе слушать, если заговорят оба рта, но без инструкции самостоятельно видно, какое тебе подвалило сокровище.

Чёрт её знает, откуда такая взялась аномалия.

Что делать ему с этой женщиной?

Попробуй не завопи, получая в убыток армию.

Разумнее было бы срочно расстаться, но разум одно говорит, а душа не согласна.

Женщина, как аномалия, не виновата в излишке хорошего. Кто сотворил её сам? Она тоже, конечно, тебе помогала, старалась, и перестаралась, и вызовет ярую бучу среди проходимцев.

У Карлика скорбные мысли.

Хорошее где бы то ни было каждому шибздику хочется лично потрогать, оно возбуждает активность, и кто прикоснётся, не зная секрет обращения, сразу хорошее губит.

Если, не зная секрет обращения, все соберутся.

Забьют её ночью цепями по-своему, либо двойную наденут узду, либо станет игрушкой для башни.

Такой головы там ещё не поставлено.

— Ты не тяни, скорей падай, ты что невесёлый? — подруга внизу верещала дуэтом. — Я подстрахую, голубчик. Ура?..

В участи парашотиста на дыбе сперва незаметно какой-либо тяжести, но, поначалу терпимая, боль обрела физический вес и тащила всего тебя книзу. Надо немедля прервать окаянство нагрузки, но пальцы, сведённые в окостеневшие горсти, не слушались. Эти сцепления каменной хваткой держали дубовую крону.

Наша беда — вся в отказе горстей подчиниться.

— Думала, встретимся, дело себе соберём! Я скучаю, но рассержусь — и домой по росе. Хотя некуда...

Карлик, изнемогая навтыжку, мялся, прикованный за руки. Скоро нашло на него помрачение, будто бы только что минула тысяча лет. Октябри с январями в апреле — холодно, пасмурно, слякотно. Шиплет жёлтый подкрашенный воздух, и тянется-тянется здешний паршивенький вечер. Или здесь утро такое смердящее. Вечером — утро. Люди, круша свои беды, всё борются. Карлик обиделся, что никакая собака на цирке событий не помнит о нём, отвисающем ультраповинность.

А столько веков отступя, мы, сиречь ирреальные павы, существовавшие где-то когда-то, равно как и вовсе не существовавшие сроду. Нам обижаться на то, что в отстойнике Леты пропал интерес относительно роли прапращурства, глупо.

— Слушай, сама не своя, когда плачу. Слезы ручьями, четыре ручья, каждый горький...

Карлик ударился лбом о землю, сел у подножья дерева на красоту колокольчиков. Он узнал ошалело себя по штанам. Эта занятная часть его платья попала ему на глаза, как указатель имущего должествования далее. Прочей приметой порядка было высокое дерево — дерево дуб ожило, помахав ему кроной.

Домашняя ловкая белка, целебная чудо-ладонь, юркнула по сянью на щеке верхолаза:

— Потрогай мой пульс, иди некуда...

— Чучело ты ненаглядное! — Карлик откликнулся, но в голове по камням у него застучали телеги.

Монстры-мыслители каркали хором и соло:

- Пашем и пляшем!.. И пашем, и пляшем!..

Это же надо, какие народные пахари, думал он, а крикуны пов-  
торяли своё:

- Пашем и пляшем!.. И пляшем!..

Ага, только вам и плясать, иронически думал он, а те, зави-  
дев его, начинали глумиться:

- Тсс!.. Оно - ходит...

- Оно прячется, передвигается...

- Где? Как оно постарело...

- Портится...

- Пашем и пляшем, оно принесло табаку...

- Гоните, гоните! Пусть убирается...

- Тише вы! - пробовал он успокоить их. - Я вам оно разве?

Доброе утро.

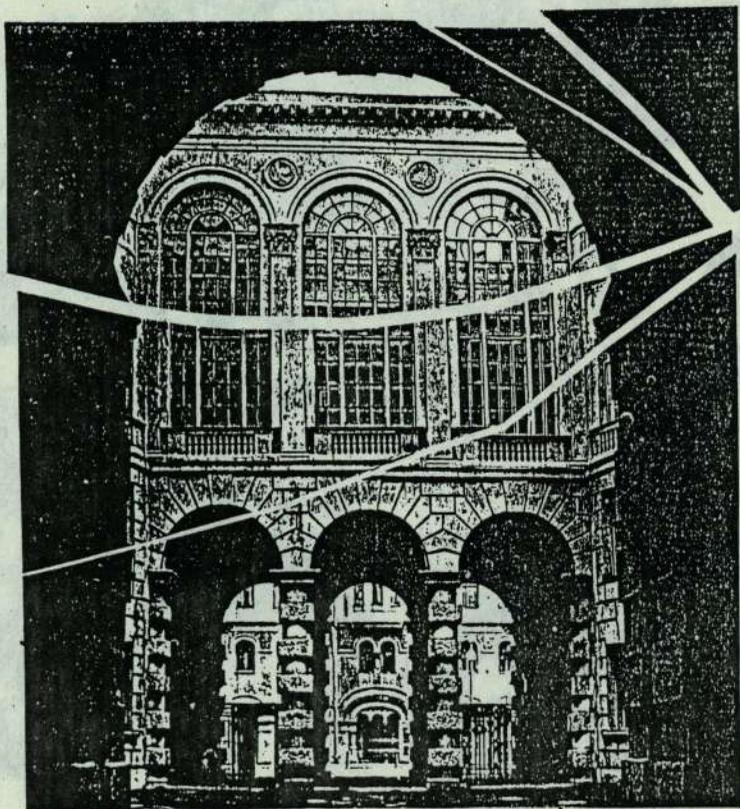
- Врёт ещё! Тыфу насчёт утра. Пришёл извести...

- Вы разве не были сами такими? - требовал истины Карлик. -

О, гной!..

- Кыш! - орали на Карлика монстры. - Мы пляшем и пашем,  
уйди! Кыш отсюда! Бродяжничество запрещено...





АЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТЯНСКИЙ

BOOKSTAND



7-25 Zina Tsitslin '83

Александр  
Ореховский

СЛУХИ

ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ

ПРОЗА

Рисунки ЛИНН ШЕЙЛЛИН

Новое Издание Публикации К\*  
Художник © 1986

ISBN 1991.

ОТДЕЛЕНИЕ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ  
СТАВРОПОЛИС

АЛЕКСАНДР ОРЕХОВСКИЙ. ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ  
СЛУХИ. ПРОЗА.

Переводчик: ЛИНН ШЕЙЛЛИН



Переводчик: Борис ВЕЛБЕРГА

СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ

All rights reserved. No part of this book may be  
reproduced or utilized in any form or by any  
means, electronic or mechanical, including photo-  
copying, recording, or by any information storage  
and retrieval system, without permission in writing  
from the publisher.

Published by: New England Publishing Company  
728 Hammond St.  
Holyoke, MASS. 01040  
Printed in the United States of America.

Малотиражное издание. 50 экз. нумерованных.



Александр ОРЕХОВСКИЙ. ИЗ ВОСЬМИДЕСЯТЫХ  
СЛУХИ. ПРОЗА.

ALEX OCHERETVANSKY. IZ VOSMI DESYATYKH  
SLUKHY. PROZA.

Рисунки работы ЛИНН ШЕЙЛЛИН

Фотопортрет работы Бориса ВЕЛБЕРГА

Copyright © 1986 by Alex Ocherevatskiy

All rights reserved. No part of this book may be  
reproduced or utilized in any form or by any  
means, electronic or mechanical, including photo-  
copying, recording, or by any information storage  
and retrieval system, without permission in writing  
from the publisher.

Published by: New England Publishing Company  
728 Hammond St.  
Holyoke, MASS. 01040

Printed in the United States of America

Library of Congress Catalog Card Number:

86 - 062221



ОУ АВТОРА

Содержание (при необходимости), опубликованное при условии... (Text is mostly illegible due to fading)

В издательстве впервые увидела свет, вышедшая в 1980 году... (Text is mostly illegible)

Некоторые из публикуемых ныне вещей были ранее напечатаны... (Text is mostly illegible)

Александр Очеретянский

Нью-Йорк, август 1986.

Вы не можете ветки меня не понять... (Vertical text, mostly illegible)



111

Некоторые из публикуемых ныне вещей были ранее напечатаны в журнале "Мулета" (Париж, 1984) и еженедельнике "Новый Американец" (Нью-Йорк, 1984).

Александр Очеретянский  
Нью-Йорк, август 1986.

△ △ △

Вы

Вы ветки

Вы не можете ветки меня не понять

Вы не можете ветки зеленые ветки меня не понять

Вы не можете ветки зеленые ветки на мусорной куче меня не понять

Вы не можете ветки зеленые ветки на мусорной куче цветущие пышно меня  
не понять

Вы не можете ветки зеленые ветки на мусорной куче цветущие пышно — плевать  
Вам на мусор — меня не понять

я такой же как Вы плоть от плоти такой же как Вы

так же точно живу оживаю расту под дождем

так же точно как Вы умираю от холода голода жажды

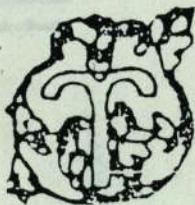


ИЗДАВАЙТЕ КНИГИ  
в Вашем Издательстве Книжки, ОВА.  
САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ  
В ИСТОРИИ  
РОССИЙСКОГО КНИГОДЕЛАНИЯ

♦♦♦

Иногда кажется, что будущее зависит от удачи  
иногда кажется, что будущее зависит от таланта  
иногда кажется, что будущее зависит от таланта

▲▲▲



ты — не один  
она — не одна  
мы — не одни  
успокойся



на ветру леденящем  
осенняя нежность  
всех немислимо-мыслимых полутонов  
и тонов и оттенков и полуоттенков  
и прозрачное нечто  
нигде не прочитанных слов





00 00 00

ты -- не видишь  
я -- не вижу  
мы -- не знаем  
узнаем



> \* <

• • •

Где только не было  
лучше всего

и слышали  
слыши  
небывшие  
красивые  
дальше слова и  
на языках  
Густо и густо  
иной человек  
Господь

> \* <

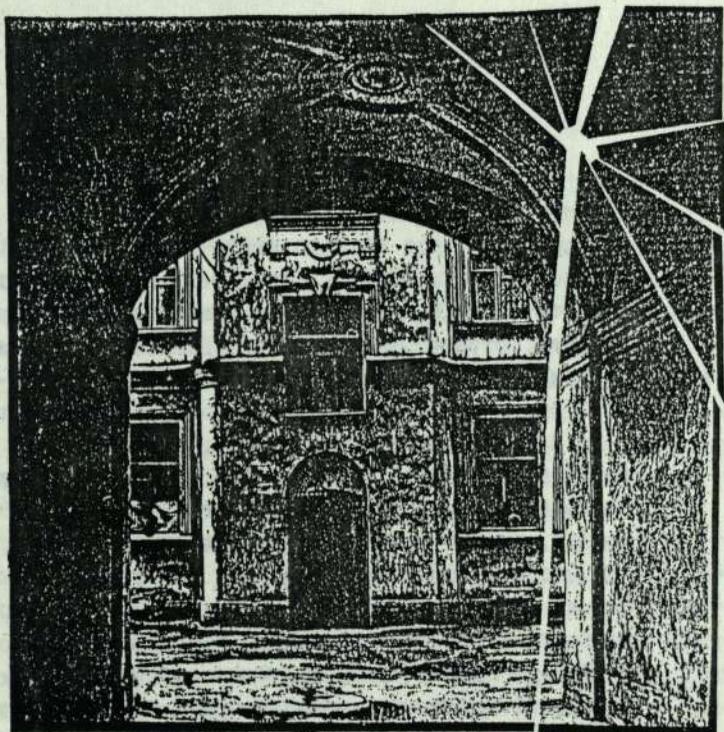


хороши росточки-ниточки крохотные винограда дикого на стене отвесной замшелой каменной и куда отталкивая друг друга в безжалостной рукопашной схватке кто – кого сучья толстые выкрученные дугообразно по стене отвесной замшелой каменной лезут куда и если вникуда а только престижа собственно ради и если кончится терпение стены из года в год междоусобные выдерживая войны когда-нибудь ей это надоест когда-нибудь тогда земная жизнь закончится как плюнуть раз и рукавом не утереться от делать нечего и никому тогда о потерянном дне пожалеть не придется некому будет жалеть о потерянном дне тогда жизни расстраченной попусту в пространство говорю громко говорю дано вам услышать меня последнюю возможность использовать вспомнить себя росточками-ниточками крохотными винограда дикого на стене замшелой отвесной каменной



ИРИНА РУДЯЕВА  
АЛЕКСАНДР СКИДАН  
АНДРЕЙ ЛЕВКИН

ГЛАСНЫЕ  
И  
СОГЛАСНЫЕ



Сумерки 12

Ирина Руднева  
Александр Скидан

# Сталкер

(Несанкционированное  
введение в поэтику)

## Предисловие Необязательное

1. Пользуясь метафорой из эпиграфа к "Зеркалу": гипнотическое искусство Тарковского возымело на критику (отечественную *par excellence*) действие обратное — заикание продолжается, и пуще прежнего. Только недоумение сменяется дифирамбом, и т.д. и т.п., а контрольный пакет акций "на" творчество мастера приобретает богословский (православный) дискурс. Не учитывать сей курьёзный аспект, значит — лишить себя удовольствия игры с ним. Почему бы и нет? Продлевая мысль Барта:

"...в компетенции критика находится не смысл произведения, но смысл того, что критик о нём говорит", — и как говорит. Ретроспективно — ниже следующий текст выговаривается, как завуалированный (внутренний) диалог с преднайдённым (существовавшим уже, до).

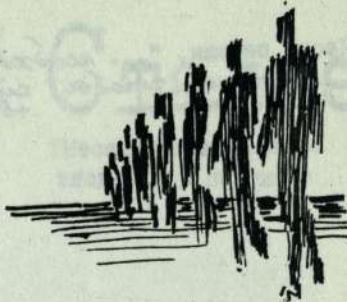
2. Ещё более определённо. Дело не столько в Тарковском, сколько в понимании. Когда дзенскому монаху надо было согреться, он развёл костёр из деревянного изображения Будды в буддийском храме (в пикну благодетелю европейского человечества Прометею). Сознание, привязанное, пускай к великому, уже не свободно, уже ограничивает самое себя. Это не означает — круши кумиров, но — не сотвори кумира себе. Не соблазнись.

Часть первая. "... необходима predeterminedность —  
к тому, чтобы существовать в лабиринте

"...хорошенько подумай прежде: а как оттуда выбраться?" — да разве ж так предупреждают, да разве ж можно удержать кого, и вообще: ореол запрета придаёт плоду товарный вид; на чёрном диске этот ореол — и игла круг за кругом вытягивается всё глубже, к центру, к дырке бумажного бублика — ш-ш-ш... ш-ш-ш... ш-ш-ш... — пока не сработает автостоп, если сработает.

Поговорим об искусстве ходьбы вокруг да около, ибо оно, пожалуй, первейшее из искусств вообще. Начнём с мэтра, отдавшего лабиринторным работам десятки лет (что до споров об использовании им "чужого" материала, то на этот счёт парафраз народной поговорки: "сочтёмся славой, ведь мы свои же люди"). Итак, Борхес, закручивая в свои лабиринты ложные коридоры и тупики, конечно, держал в уме направление выхода и без труда мог им воспользоваться. Однако, — возможно, предчувствуя надвигающуюся слепоту, а может, стремясь к ней изо всех сил, избегая света и для верности закрывая глаза, — пренебрегая сооружёнными петлями, как бы перечёркивая собственную затею снизу, кротом выныривал он снаружи, цел и невредим; оставляя простодушных кандидатов в тезеи прикладывать ухо к дырке в бумажном круге: ш-ш-ш... Их дальнейшая судьба неизвестна — многовариантна — сомнительна. Попытка отстоять реальность вынуждает принять многовариантность методом доказательств, однако раздражающее простотой правило арифметической суммы, как ни крути, решает вопрос механическим повторением: их дальнейшая судьба неизвестна...

Пойдём в кино на фильм другого мэтра. 1/3 главного героя буксирует к порогу некой комнаты свои вопрошающие ипостаси, по ходу дела требуя немногого: довериться Авторитету (в своём лице) и поклониться Тайне. С Авторитетом худо-бедно, с помощью



кулаков, дело тянется, однако на пороге Тайны троица безнадежно замирает, поскольку гарантий как таковых нет: человек предполагает, а комната располагает (так что и выход может обернуться чёрт те чем, в силу неизвестности опять-таки, и не выходом вовсе). Подозрительны ещё бинтики с гайками: что они такое, если принять целый бинт за нить Ариадны, то разрезанная на бинтики, да с гайками, да швыряемые всякий раз наобум?.. — нет, упорствуют герои Достоевского в руинах боржесова лабиринта, нет уж, Ариадна с амброй не рифмуется, но и не ей тут пахнет, тут хуже, хуже... И — выбрались, откуда "той же дорогой не возвращаются": то ли взяли за шиворот проводника, то ли, опять-таки взяв за шиворот, прыгнули с ним в захламынный бассейн... а что? Кто знает, что не прыгнули? Режиссёр? Он много чего не знает по долгу службы разумному, доброму, вечному (ария Сыщика: "Элементарно!"). Так что могли и прыгнуть, если в помыслах как-никак сориентировались на трактирную стойку, привычное своё место посреди достоевски-достоверной жизни... В фильме этого нет? Разумеется. Режиссёр нырнул, кротом вышел, он не мог знать, что там после него случится. Он для того и воспользовался комнатой, чтобы не знать. И — прямёхонько в трактир (кафе? да будет вам притворяться!) — удостовериться. (Родион Романович, помнится, вот так же наведывался колокольчик послушать.) И удостоверился — тут как тут: три артиста и одна собака. Показания жены проводника, казалось бы, пролили свет на неё самое как добровольного агнца, своего рода прижизненную вдову, но появилась дочка и всё испортила: "Угрюмый, тусклый огонь желанья" — се поппущение маменьки с папенькой, альянс сладострастной апокалиптички и недозрелого, пока невеликого инквизитора... А что же Режиссёр? Что ему п о с л е , когда ушёл через комнату, по-орфеев-

ки оглянувшись, кого и зачем встречать?

Программный вопрос: "как я вижу то, что вижу" задом наперёд - решается в одно действие: Режиссёр констатирует отсутствие внешней перемены, облучённости комнатой как бы и нет, рисунок судьбы идентичен прежнему, как оттиски с одного трафарета; Писателю - писателево, Учёному - учёново, Сталкеру - сталкерово... Вроде зря сходили. Сие и есть - режиссёрово - прокрустово ложе морализаторской традиции: насрать войну, чуму, мессию, любыми средствами выбить почву из-под ног у героев (место встречи с Богом тоже нельзя изменить, т.е. оно всегда вне, оно - фрустрационная ситуация), дабы обрести право спрашивать с них по максимуму: раз сопаломники, то и повиты верёвочкой - обязаны переродиться. А они всё те же. То есть внутренне, конечно, уже не те, уже не забудут искушение Авторитетом и Тайноу, да только как это разглядеть, и почему надо разглядывать, напрягаться, если на всё есть канон и на святость тоже. Короче: "докажи мне, что ты возлюбил ближнего, если я этого не вижу". Режиссёр не видит и зрителей с толку сбивает, Сталкера под руки выводит, мол: вот герой, вот этот - надежда и опора. А ведь как напрашивается наоборотность... какой антигерой проглядывает то из мужской тройцы, то из семейной... Ну потом-то, спустя время, мэтр пересчитал, кто сколько стоит. Но - потом. Мы же - о круговороте искусства в искусстве, о пластинках и бубликах, о Боге, для удобства пользования ссылаемом в резервацию - то в Книгу, то в Церковь, то в Зону, - и о неочевидности очевидных вещей. "Казуистика!" - восклицают господа критики. "Это не разговор!" - перебивают поклонники Режиссёра. Ну, с поклонниками, с грамотами их охранными и впрямь не поговоришь. Да и пластинка-то наша уже кончилась: ш-ш-ш... ш-ш-ш... ш-ш-ш... Может, перевернём?

## Часть вторая. Почему в фильме "Салгера" - Тютчев?

Зачем - надоело? Перевернул и снова крути... Тем более что новое - это хорошо артикулированное старое. Смещение акцента (как и в "бородатом" анекдоте про любовь "по-грузински", с громоздким развёртыванием заздравного тоста в интимную метафору) ведёт к последствиям непредсказуемым. В "Зеркале", например, мальчик читает знаменитое письмо, не подозревая - благодаря режиссёру - насколько и чем оно знаменито. И вместе с ним мы начинаем неправильно интонировать, плутать в периодах, спотыкаться. Мысль Пушкина отдаляется, ускользает, чтобы её не упустить, удержать в привычном фокусе (не двойсь!) - требуются усилия.

Эпизод этот - прекрасная иллюстрация к тому, как вообще поступает искусство, вынужденное - и в этом его могущество, и прелесть, и ограниченность - строить искусные ловушки ("зоны"), стягивая инертное обыденное восприятие в сопереживание. Оно изолирует жизнь в модель, в сюжет, в композицию и пр., как бы вынося смысл рассказываемого за скобки, образуемые условностью формы, - так, чтобы у смотрящего (или читающего, или слушающего) возникало по ходу дела желание скобки эти раскрыть - тире-вернуть жизни её непрерывность - тире-статику смысла. В пространстве, организуемом этими противонаправленными задачами, и творит художник, по мере сил сокращая расстояние, отделяющее его от демиурга. Ибо читатель (или зритель, или слушатель) с помощью нехитрых маневров в искривлённом "поле чудес" и производит воспринятое в ранг совершенства.

Расхрабрившись, творец может (особенно, если развязка близко) принести одну из "скобок" в жертву, намекнуть, дать понять что к чему. Может пересечь демаркационную линию и, обезоружив себя, перейти к прямому "наукочению", т.е. к проповеди, чему примеров более чем. А может только сделать вид, что... А может... Короче говоря, он способен на любые уловки, глупости и безумства. В принципе. На деле же, если он хочет остаться художником, то должен повиноваться самому себе, для чего и существует целый перечень правил "хорошего" тона". Игра есть игра, и горе тому, кто бунтует против её природы негодными средствами; он ведёт себя неприлично, как тот, кто в доме повешенного гово-

рит о верёвке. Или, обязанный этой самой верёвке быстрым исходом, упрекает её — разумеется, на том свете — в том, что она была неважно намылена.

В финале "Сталкера" девочка-калека — а точнее сказать, её устами, устами младенца (ибо она — лишь орудие, лишь навигационный прибор, своего рода локатор) — ставит под знак вопроса (ставится под вопрос) традиционную христианскую мораль с её псевдоразличением добра и зла. Она произносит стихотворение Тютчева т а к , совершая при этом (или перед, или после, не суть; важна смысловая синхронность) т а к о е , что чувство предначертанного сострадания сменяется чуть ли не противоположностью, а мысль от "одной детской слезинки в фундаменте всеобщего счастья" — плюс хиреющий индустриальный пейзаж в окне, плюс железнодорожный, немедленно ассоциируемый с родительской истерикой, нарастающий — торжествующий — грохот, — рикошетирует в...

Если не станете как дети малые, то не войдёте в Царствие Комнаты? Ребёнок — жертва, ребёнок, проливающий слёзы по отнятой игрушке, даже Сталкер, оплакивающий "отнятую" Зону и несовершившееся чудо (а он, что же он сам-то не приставил своей Мартышке новые ножки? — гениальный кадр, под занавес, торс девочки, неслучайная ноша, устрашающий фон), — они законно умильны. Но тот же ребёнок, только мучающий с компанией сверстников кошку в подвале — беременную кошку, орущую так, т а к орущую! Блаженны верующие — ибо они утешатся, — что дитя "от природы — сосуд любви и добра". Добро, как и зло, суть оценка, аргумент пост фактум в пользу рефлексии. Следовать чувству, как требует догма, — абсурдно, так как в чувстве нет никакого понятия о Добре и Зле. Поэтому дитя — ни то, ни другое, а просто — человек до-разумный. Ему нужно объяснять, что делать следует, а что нет, и — почему... "папа, в начале было Слово?".

А теперь представьте, что наша героиня оказалась в Комнате.

Увольте, но по мне лучше Писатель (Учёный: а по-моему, ты — говно!), собирающий "компромат" на читателя, такой, в худшем случае, спалит свой писательский особняк; лучше Учёный (Писатель: а по-моему, ты — говно!) с игрушечной бомбой и жалкой попыткой провокации. Эти двое рядом с маленьким телепатом — Сталкером в юбке — сущие агнцы, сама невинность. Ведь стаканчики от нечего делать кокать — чистые, а грязненький приглянулся —

это не про дерьмометры и душемеры рассуждать. Не эта ли вера сдвигает горы (горы - чего?), когда они отказываются идти, по-винуясь, к Магомету?

Откроем скобку (выражаясь намеренно фигурально).

Речь у Тютчева об Эросе и об его, Эроса, инобытии. Проти-тируем:

Люблю глаза твои, мой друг,  
С игрой их пламенно-чудесной,  
Когда их приподымешь вдруг  
И, словно молнией небесной,  
Окинешь бегло целый круг...

*Но есть сильный огаробанье  
Глаза, потупленные ниц  
В минуты страстного лобзания,  
И сквозь опущенных ресниц  
Угрюмый, тусклый огонь желанья!*

Отчётливое разделение на два пятистишия говорит само за себя. В своей первой ипостаси Эрос - сродни Платоновой Идеи, он одухотворён и целомудрен: люблю - игрой - чудесной - небесной - круг. Объект, на который направлено чувство, как бы растворён в божественной свободе, в Игре (с огнём!). Во второй части огонь вырывается, разрывая круг - символ совершенства, - и оборачивается демоном, насильником, изощрённо и откровенно любующимся своей жертвой: ниц - потупленные - опущенных - угрюмый - тусклый - огонь (уже не огонь). Желанье!

Вторая ипостась, как более соблазнительный вариант, сильнее ("венская делегация", алло!), примитивнее, "природнее", "естественнее", доступней. Но откуда у девочки-подростка такие переживания?

Да в том-то и ужас, что — эмпирически — ниоткуда. Ведь она — мистик, спирит, мини-антихрист... (поневоле начнёшь заговариваться).

Если поэт констатирует изначальный трагический дуализм, как бы положенный свыше в основание мира, то в фильме, устами ребёнка женского пола, дуализм даёт крен. "Когда покров земного чувства снят", на арену выходит и единолично правит бал — смерть — тире — тотальное младенческое зло, гнездящееся в каждом атоме слепого инстинкта.

Но — "подлец человек, ко всему привыкает", и в обычном воспроизводстве себе подобных или в примитивном разрушении (саморазрушении) ему, в качестве подстраховки, мерещится Апокалипсис с его хэппи-эндом, со взятыми на себя Искупителем "соц. обязательствами".

Тут бы и уйти авторам по-английски, незаметно закрыв за собой скобки-дверь. Но — есть сильней очарование — воспользуемся протоптанным кино-тропом и, предоставив звуковые и визуальные эффекты воображению читателя, процитируем ещё одно коротенькое стихотворение Тютчева, помещённое, к слову сказать, перед (по крайней мере, в сборнике "Малая серия Библиотеки Поэта") вышеприведённым:

*И чувства нет в твоих очах,  
И правды нет в твоих речах,  
И нет души в тебе.  
Мужайся, сердце, до конца:  
И нет в творении Творца!  
И смысла нет в любви!*

## Достоевский как русская народная сказка.

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту.

Он благополучно избежал встреч с жильцами на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлю высокого пятиэтажного дома и походила более на чулан, чем на квартиру.

Не то чтобы он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряжённом состоянии, похожем на ипохондрию. Нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видел.

На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, лёсá, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь. Чувство глубокого омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека.

Кстати, он был замечательно хорош собой, с прекрасными тёмными глазами, тёмно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, в какое-то забытие, и пошёл, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать.

А между тем, когда один пья-

ный, которого неизвестно почему и куда провозили в то время по улице в огромной телеге, запряжённой огромной ломовой лошадей, крикнул ему вдруг, проезжая: "Эй, ты, немецкий шляпник" — и заорал во всё горло, указывая на него рукой, — молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу.

Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону.

С замиранием сердца и нервною дрожью подошёл он к преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву, а другою в -ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселён был всякими промышленниками — портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, и проч.

Молодой человек был очень доволен, не встретив никого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была тёмная и узкая, "чёрная", но он всё это уже знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась.

Звонокбрякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки.

Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил...

Молодой человек переступил через порог в тёмную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня. Полы были усыпаны свежее накошенной душистой травой, окна были открыты, свежий лёгкий воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым гроденшпелем и обшит белым густым рижем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах, лежала в нём девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы её, волосы светлой блондинки, были мокры; венчик из роз обвивал её голову. Строгий и уже окостенелый профиль её лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на болезненных губах её была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы.

Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверхено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на

жару, болталась вся истрёпанная и пожелтевшая меховая шапка.

Он не смог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начавшее давить и мутить его сердце, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей.

Он шёл по тротуару, как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже на следующей улице.

Что-то совершалось в нём как бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. В распивочной в ту пору оставалось мало народу: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке и с седою бородою, очень захмелевший, задремавший на лавке, и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прищёлкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнюю часть корпуса, не вставая с лавки, причём поддевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде:

Целый год жёну ласкал,

Целый год же-ну ла-скал...

Или вдруг, проснувшись, опять:

По Подъяческой пошёл,

Свою прежнюю нашёл...

Был тут и ещё один человек, с виду похожий на отставного чиновника. Он сидел особо, перед своей посудинкой, изредка отпивая и поглядывая кругом. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отекившим жёлтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щёлочки, но одушевлённые красноватые глазки. Он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положив локти на заляпанный и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на молодого человека и громко и твёрдо проговорил:

— А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного. Сам всегда уважал образованность, соединённую с сердечными чувствами и, кроме того, состояю по учёной части. Менделеев — такая фамилия; профессор. Осмелюсь узнать — служить изволили?

— Нет, учусь... — отвечал молодой человек, отчасти удивлённый тем, что так прямо, в упор, обратились к нему.

— Студент, стало быть, или бывший студент, — вскричал собеседник, — так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт.

— Милостивый государь, — на-

чал он почти с торжественностью. Во многом знании премногие печали. Знаю я также и что век живи, век учишься, а дураком всё одно помрёшь. А также ещё некоторые говорят, что в знании — де сила — о. В знаниях — то очень может быть даже и так, в оном вы ещё сохраняете своё благородство врождённых чувств, в мудрости же никогда и никто. За мудрость даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в мудрости я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питаённое! Позвольте ещё вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили ли вы знать о моей Таблице?

— Нет, не случилось, — отвечал молодой человек. — Это что такое?

— Табличка — то, то есть, что ли? Так, вздор, пустое. Да чего тут объяснять, дело ясное. Вот о мудрости, впрочем... Зятёк у меня, Шурка: умница с виду, горяч, горд и непреклонен. Учён — с, в самом деле учён — с, и ещё как! А тоже мудрость не по годам одолеть изволили: София — с, небесное умом не измеримо, лазурное сокрыто — с от умов. Лишь изредка приносят серафимы священный сон избранныкам миров. Или вот ещё стишок — с: вхожу я в тёмные храмы, совершаю бедный обряд, там я жду прекрасной дамы в мерцании красных лампад. Благородно — с, а

только теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, честная девица таковое обращение переносить? ходит ломая руки по комнатам, да красные пятна у ней на щеках выступают...

Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое участие. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошёл из верхней комнаты, чтобы послушать "забавника", и сел поодаль, лениво, но важно позёвывая. Очевидно, Менделеев был здесь давно известен.

- Забавник! - громко проговорил хозяин. - А для ча не работаете, для ча не служите, коли по учёной части?

- Для чего я не служу, милостивый государь, - подхватил Менделеев, исключительно обращаясь к молодому человеку, как будто это он задал ему вопрос, - для чего не служу? - Менделеев замолчал, как будто голос у него пресёкся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крикнул.

- С тех пор, государь мой, - продолжал он после некоторого молчания, - с тех пор... скажите, милостивый государь, а случилось вам... гм?... оказываться в положении безнадёжном?

- Случалось... То есть как безнадёжном?

- Извольте видеть, молодой человек, имел я случай поддаться своей гордыне, вознамерившись проник-

нуть в самое что ни на есть обиталище мудрости, и, едва достигнув зрелого возраста, дал гордыне полную власть над собой. Упорные труды затем последовали, да не на год, милостивый государь, на десятилетия, впрочем, как вы студент, то вам это и объяснять не требуется, а и то сказать - и объяснить-то трудно, ибо труд я взвалил на себя непомернейший: составить такую таблицу, чтобы всякому веществу в ней единственное и от Бога законное место отведено было.

Горд-с был, чрезвычайно горд. Можете представить себе, до какой степени мои бедствия доходили, и всё это время я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф), ибо чувство имею. И достиг я мудрости. Достиг и потерял. Понимаете-с? Только уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила... Ибо что такое эта таблица, как не вздор... Извольте видеть вот это-с, - Менделеев вынул из кармана своего старого, совершенно оборванного фрака, с осыпавшимися пуговицами, какого-то жёлтого цвета оконный шпингалет, где-то, верно, украденный, и протянул собеседнику.

- Это, извольте подержать в руках. - Менделеев остановился опять в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных, и

раздавались у входа звуки нанятой шарманки и детский надтреснутый семилетний голосок, певший "Хуторок". Стало шумно. Хозяин и прислуга занялись вошедшими. Менделеев, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотливее. Воспоминания о недавнем успехе как бы оживляли его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Молодой человек слушал внимательно.

- Было же это, государь мой, назад пять недель... Да... Господи, точно я в Царстве Божие переселился. Прямо глас слышал во сне: "Ну, говорит, Менделеев, раз уж ты не обманул мои ожидания..." И вот, изволите видеть этот предмет-с! Милостивый государь, милостивый государь - вам, может быть, это в смех, как и прочим, ну а мне не в смех! Ведь это, государь мой, латунь! А латунь, изволите знать, в таблице моей места не предусмотрено-с! Она, милостивый государь, не вещество-с чистое, но сплав. А это что значит, судрь мой дорогой? Что её и нет как бы? Да как же её нет, если, изволите видеть, вот он, предметец-то, самый отчётливый. Чистота-с науки, - скажете вы, молодой человек. Понимаете, понимаете ли, сударь, что означает сия чистота? Ну, кто же такого, как я, пожалеет? Ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говори, сударь, жаль аль

нет? Хе-хе-хе-хе!

Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштоф был пустой.

- Да чего тебя жалеть-то? - крикнул хозяин, очутившийся опять подле них.

Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и не слушавшие, так, глядя только на одну фигуру профессора.

- Жалеть! Зачем меня жалеть! - вдруг возопил Менделеев, вставая с протянутой рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. - Зачем жалеть, говоришь ты? Да, меня жалеть не за что! Меня распяты надо распяты на кресте, а не жалеть. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошёл? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слёз, и вкусил, и обрёл, а пожалеет нас Тот, Кто всех пожалел и Кто всех понимал, Он Единный, Он и Судия... И всех рассудит и простит... и добрых и злых, и премудрых и смирных... возглаголет и нам: "выходите, скажет, вы! выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники". И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И возглаголят премудрые: "Господи, почему сих приемлешь?" И скажет: "Потому их приемлю, премудрые, что ни единый из них сам не считает себя достойным сего..." и прострёт к нам руке Свои, и мы припадём... и заплачем... и воё

поймём! Тогда всё поймём!.. и все поймут... Господи, да придет Царствие Твое!

И он опустил на лавку, истощённый и обесиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание, но вскоре раздался прежний смех и ругательства.

— Рассудил!

— Заврался!

— Чиновник!

И проч. и проч.

— Пойдёмте, сударь, — сказал вдруг Менделеев, поднимая голову, — доведите меня... Дом Козеля, во дворе.

Молодому человеку давно уже хотелось уйти, помочь же ему он и сам думал. Менделеев оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко опёрся на него. Идти было шагов двести-триста. Смущение и страх всё более овладевали Менделеевым по мере приближения к дому.

— Я не чистоты теперь боюсь, — бормотал он в волнении, — другого. Вот, извольте знать, есть такой элемент алюминию. Или, как это говорят-с в народе: ляминь. Так что же, государь мой, держал ли кто-нибудь в руках своих этот самый ляминий?! Не держал и держать не мог-с! Ибо алюминию под действием кислорода, или, говоря по-простому, воздуха, имеет обыкновение незамедлительно

окисляться, и, таким образом, персты ваши прикрпнуться к ляминию не имеют ровным счётом ни малейшей возможности. Что за печаль, скажете вы, милостивый государь, и соглашусь с вами: что уж за печаль. А только, государь мой, вот в том-то вся и загвоздка, что печаль: всё воск, воск! перед Ликом Господним — в мечтах своих и так и этак всё обставляете и мечты имеете самой возвышенной природы, а как только задумают они осуществиться тут, в этом самом воздухе нашем-о, так извольте видеть: окислились, одна грубая природа, ляминий, стод-машина, ляминь!

Они вошли со двора и прошли в четвёртый этаж. Лестница чем дальше, тем остановилась темнее. Было уже одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но наверху лестницы было темно.

Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату: шагов в десять длинной; всю её было видно из сеней. В самой же комнате было всего только два стула и клеёчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подовечнике. Выходило, что Менделеев помещался в особой комнате. Дверь в соседские

помещения была приотворена. Там было шумно и крикливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.

Менделеев, протолкнув молодого человека вперёд, сам не дойдя до стола, стал перед огарком на колени. Почувствовав замешательство в спутнике, он повернул к нему лицо своё и сказал: оно лучше... Вот и дом... Боюсь... глаз боюсь... красных пятен на щеках тоже боюсь... Детского плача тоже боюсь. А побоев не боюсь. И ещё — опередил он движение молодого человека к дверям — кольца изготавливать из лишь тех веществ моей Таблицы, кои имеют окончанием своего имени букву O...

Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из неё выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Молодой человек бросился в соседние двери. Войдя туда, он, на мгновение очнувшись, застыл, как бы соображая: зачем это он вошёл?

В комнате было душно; но окна не отворяли; с лестницы несло вонью, из внутренних номеров, сквозь неприотворенную дверь, неслись волны табачного дыма. Самая маленькая девоч-

ка, лет шести, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше её, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка, лет одиннадцати, высокенькая и тоненькая как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, шитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своей длинной, высохшей как спичка рукой. Она, казалось, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтобы он как-нибудь не захныкал, и в то же время со страхом следила за вошедшим своими большими-большими тёмными глазами, которые казались ещё больше на её исхудавшем и испуганном личике.

## 2

Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими жёлтенькими, пыльными и всюду оставшими обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку

становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было три старых стула, не совсем исправных, крашенный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому, как они были запылены, видно было, что до них давно не касалась ничья рука; и, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть ли не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях. Перед софой стоял маленький столик.

Он благополучно избежал встреч с жильцами на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлю высокого пятиэтажного дома; молодой человек был очень доволен, не встретив никого из них, и неприметно проскользнул на улицу.

На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду извёстка, лёсá, кирпич и та особенная летняя вонь. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершали отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в забытие, и пошёл, уже не замечая окружающего, да и не желая

его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам ощущал, что мысли его порой мешаются и что он очень слаб: второй день уж он почти совсем ничего не ел.

Идти ему было немного: он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размышлялся. В то время он и сам ещё не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии, нерешимости, "безобразную" мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил.

С замиранием сердца и нервной дрожью подошёл он к преогромнейшему дому, выходящему одной стеной на канаву, а другой - в -ю улицу. Выходящие и входящие так и шмыгали под обеими воротами и в обеих дворах дома. Лестница была тёмная и узкая, "чёрная", но он всё это уже знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносявшие из одной квартиры мебель. "Не бледен ли я очень?" - думалось ему. - Не в особенном

ли я волнении? Она недоверчива... Не подождать ли ещё... пока сердце перестанет?"

Но сердце не переставало. Напротив, как нарочно стучало сильнее, сильнее, сильнее... Он не выдержал, медленно протянул руку к колокольчику и позвонил. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. Он так и вздрогнул, слишком уж ослабили нервы на этот раз.

Немного спустя дверь приотворилась. Молодой человек переступил через порог в тёмную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня. Полы были усыпаны свежескошенной травой, окна были отворены, свежий лёгкий воздух проникал в комнату; на покрытых белыми атласными пеленами столах стоял хрустальный гроб. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах лежала в нём девочка. Одета в одну из своих старых ночных сорочек, она лежала на боку, спиной к вошедшему. Её сквозящее через лёгкую ткань тело и голые члены образовывали короткий зигзаг. Она положила под голову подушку; кудри были растрёпаны; полоса бледного света пересекала её верхние позвонки.

Раздался кашель. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была сухая, крошечная старушонка лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с

маленьким острым носом и просто-волосая.

- Был у вас намерения, - поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.

- Помню, батюшка, очень хорошо помню, - отчётливо проговорила старуха, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.

- Так вот-с... и опять по тому же дельцу...

Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на гроб, произнесла, пропуская гостя вперёд:

- Пройдите, батюшка.

Возле лежала какая-то книга. Он взял в руки и посмотрел. Это был Новый Завет в русском переводе. Книга была старая, подержанная, в кожаном переплёте.

- Это откуда? - крикнул он старухе.

Она стояла в том же месте, в трёх шагах от него.

- Принесли, - ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него:

- Где тут про девицу? - спросил он вдруг.

Старуха упорно глядела в землю и не отвечала. Она стояла немного боком к гробу.

- Про воскресение девицы где? Отыщи.

Она искоса глянула на него.

- Не там смотрите... От Мар-

ка... — сурово прошептала она, не придвигаясь к нему.

— Найди и прочти, — сказал он, сел, облокотился, подпер руку головой и угрюмо уставился на девочку, приготовившись слушать.

Старуха нерешительно ступила к гробу. Впрочем, взяла книгу.

— Читай! — воскликнул вдруг он настойчиво и раздражительно.

Старуха развернула книгу и отыскала место. Руки её дрожали, голосу не хватало. Два раза начинала она, и всё не выговаривалось первого слова.

"Он же сказал ей: дочь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей".

"Когда Он ещё говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что ещё утруждаешь Учителя?"

"Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко. И, вошедши, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица — не умерла, но спит".

"И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берёт с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала".

"И, взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа-куми", что значит: "девица, тебе говорю, встань".

"И девица тотчас встала и начала ходить; ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изум-

ление".

"И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал; и сказал, чтобы дали ей есть".

Далее она не читала, закрыла книгу и быстро встала со стула.

— Всё о девице, — отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись на сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза.

Молодой человек подошёл к гробу. Её прелестный профиль, приоткрытые губы, тёплые от солнца волосы были в каких-нибудь трёх вершках от него. Он вдруг ясно понял, что может поцеловать её в шею или в уголок рта с полной безнаказанностью — он понял, что она позволит ему это. Невозможно объяснить, каким образом он это понял; может быть, звериным чутьём уловив легчайшую перемену в ритме её дыхания. Поздно! До него резко донеслись страшные, отчаянные вопли с улицы.

В первое мгновение он думал, что с ума сойдёт. Страшный холод обхватил его: теперь же вдруг ударил такой озноб, что чуть зубы не выпрыгнули и всё в нём так и заходило. Где-то далеко, внизу, вероятно под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бранились. Наконец разом всё утихло, как отрезало. Он уже ступил было на лестницу, как послышались чьи-то шаги.

Эти шаги послышались очень

далеко, ещё в самом начале лестницы, но он очень хорошо и отчётливо помнил, что с первого же звука, тогда же стал подозревать, что это непременно сюда, в четвёртый этаж, к старухе. Шаги были тяжёлые, ровные, неспешные. Вот уж он прошёл первый этаж, вот поднялся ещё; всё слышней и слышней! Вот уже и третий этаж начался. Сюда! И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту и руками пошевелить нельзя.

Гость несколько раз тяжело отдыхнулся. "Толстый и большой, должно быть", — подумал он. В самом деле, точно это всё снилось. Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил.

Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьёзно прислушивался. Незнакомец звякнул ещё раз, ещё подождал и вдруг, в нетерпении, изо всех сил стал дёргать ручку у дверей. В ужасе смотрел молодой человек на прыгавший в петле кряк запора и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит.

— Однако, чёрт!.. — вскричал тот вдруг и в нетерпении отправился вниз, торопясь и стуча по лестнице сапогами. Шаги стихли.

Никого на лестнице! Под воро-

тами тоже. Быстро прошёл он подворотню и повернул налево по улице

Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную; он чувствовал даже озноб; на такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилением начал он, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленного развлечения, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался, то тотчас же забывал, о чём сейчас думал и даже где проходил.

Впоследствии, когда он припомнил это время и всё, что случилось с ним за эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его поражало всегда одно обстоятельство, хотя в сущности и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением судьбы его.

Именно: он никак не мог понять и объяснить себе, почему он, усталый, измученный, которому было бы всего выгоднее возвратиться домой самым кратчайшим и прямым путём, воротился домой через Сенную площадь, на которую ему было совершенно лишнее идти. Зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая важная, такая решительная в высшей степени для него и в то же время такая в высшей степени слу-

чайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное и самое окончательное действие на судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его!

Было около девяти часов, когда он проходил по Сенной. Все торговцы на столах, на лотках, в лавках и лавчонках запирали свои заведения или снимали и прибирали свой товар, равно как и их покупатели. Он вошёл на Сенную. Ему неприятно, очень неприятно было сталкиваться с народом, но он пошёл именно туда, где виделось больше народу. Он бы дал всё на свете, чтобы очутиться одному; но он сам чувствовал, что ни одной минуты не побудет один. В толпе безобразничал один пьяный; ему всё хотелось плясать, но он всё валялся на сторону. Его обступили. Молодой человек протиснулся сквозь толпу, несколько минут смотрел на пьяного и вдруг коротко и отрывисто захохотал. Через минуту он уже забыл о нём, даже не видал его, хоть и смотрел на него. Он отошёл наконец, даже не помня, где он находится; но когда дошёл до середины площади, с ним вдруг произошло одно движение, одно ощущение овладело им сразу, за-

хватило его всего — с телом и мыслью.

Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз.

— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.

Раздался смех.

— Это он в Иерусалим идёт, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает! — прибавил какой-то пьяненький из мечан.

— Парнишка ещё молодой! — ввернул третий.

— Из благородных! — заметил кто-то солидным голосом.

— Ноне их не разберёшь, кто благородный, кто нет.

Он, однакож, не то чтоб был уже совсем в беспамятстве: это было всё то же лихорадочное состояние, с бредом и полусознанием. Многое он потом припомнил. То казалось ему, что около него собралось много народу и хотят его взять, очень о нём спорят и осорятся. То вдруг он один в каком-то дворе, где близ ворот, тут же на заборе, написана была мелом всегдашняя в таких случаях острога: "Сдесь становитца воз прещено". Возле Сенной, на мостовой, перед мелочною лавкой, стоял молодой черноволосый шарманщик и вертел

какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоящей впереди его на тротуаре девушке лет двенадцати, одетой, как барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного цвета пером. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голо-сом она выпевала романс в ожидании двухкопеечника из лавочки. Молодой человек приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал, вынул пятак и положил в руку девушке; та вдруг пресекла пение на самой чувствительной и высокой ноте, точно отрезала, резко крикнула шарманщику "будет", и оба поплелись дальше, к следующей лавочке.

- Любите ли вы уличное пение? - вдруг обратился к нему какой-то невысокий человек, с виду похожий на мещанина, одетый в чём-то вроде халата, в жилетке и очень походивший издали на бабу. Голова его в заса-ленной фуражке свешивалась вниз, да и весь он был точно сгорбленный. - Я люблю, - продолжал он, но с таким видом, будто вовсе не об уличном пении говорил, - я люблю, как поют под шарманку, в холодный, тёмный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зелёные и больные лица; или ещё лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блиста-ют...

- Что такое? - спросил молодой

человек.

Мещанин не глядел на него. Оба подошли тогда к перекрёстку. Мещанин поворотил в улицу налево и пошёл не оглядываясь. Молодой человек остался на месте и долго глядел ему вслед. Он видел, как тот, пройдя шагов уже пятьдесят, обернулся и посмотрел на него, всё ещё стоявшего на том же месте. Он пошёл к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошёл как ни в чём не бывало. Опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. "Да полно, звал ли он?" - подумал молодой человек, однако ж стал догонять. "Знает ли он, что я за ним иду?" - думал он. Мещанин вошёл в ворота одного большого дома. Молодой человек подошёл к воротам и стал глядеть: не оглянется ли он и не вызовет ли его. В самом деле, пройдя всю подворотню и уже выходя во двор, тот вдруг обернулся и опять точно как будто махнул ему. Молодой человек тотчас же прошёл подворотню, но на дворе мещанина уже не было. Стало быть, он вошёл тут сейчас на первую лестницу. Странно, лестница была как будто знакомая! Вон окно в первом этаже: грустно и таинственно проходил сквозь стёкла лунный свет; вот и второй этаж. Шаги впереди идущего человека затихли: "стало быть, он остановился или где-нибудь спрятался". Вот и третий этаж; идти ли

дальше? И какая там тишина, даже страшно... Но он пошёл.

А! квартира отворена настежь на лестницу; он подумал и вошёл. В передней было очень темно и пусто, ни души, как будто всё вынесли; на цыпочках, тихонько прошёл он в гостиную: вся комната была ярко облита лунным светом; всё тут по-прежнему: огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна. "Это от месяца такая тишина — он, верно, теперь загадку загадывает". Он стоял и ждал, долго ждал, и чем тише был месяц, тем сильнее стучало его сердце, даже больно становилось. И всё тишина. Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и всё опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налёта ударилась о стекло и жалобно зажужжала.

И он вдруг ощутил, что мнительность его от одного соприкосновения с мещанином, от двух только слов его, от двух только взглядов уже разрослась в одно мгновение в чудовищные размеры...

— Да-да-да! Не беспокойтесь! Время терпит, время терпит, — бормотал мещанин, прохаживаясь взад и вперёд около стола, но как-то безо всякой цели, как бы кидаясь то к окну, то к бюро, то опять к столу, то избегая подозрительного взгляда молодого человека, то вдруг сам останавливаясь на месте и глядя на него в упор.

— Успеем-с, успеем-с!.. А вы курите? Есть у вас? Вот-с, папирсочка, — продолжал он, подавая гостю папирску. — Я вам одну вещь, батюшка, скажу про себя, так сказать в объяснение характеристики, — продолжал, суетясь по комнате, хозяин, по-прежнему как бы избегая встретиться глазами со своим гостем... — заметили ли вы, батюшка, что у нас, то есть у нас в России-с, если два умных человека, не слишком ещё между собой знакомые, но так сказать взаимно друг друга уважающие, вот как мы теперь с вами, сойдутся-с вместе, то целых полчаса не могут найти темы для разговора — коченеют друг перед другом, сидят и взаимно конфузятся... У всех есть тема для разговора, у дам, например... Кофием вас не прошу-с, не место, но минуток пять почему не посидеть с приятелем, для развлечения, — не умолкая сыпал хозяин.

— Ну так вот вам, так сказать, и примерчик на будущее — то есть не подумайте, чтоб я вас учить осмелился: нет-с, а так, в виде факта, примерчик осмелюсь представить, об этом вы, батюшка, с совершенною справедливостью и остроумием давеча заметить изволили. (Молодой человек вроде бы не замечал ничего подобного.) Запутаетесь-с! Вот, например, есть такой род болезни, господни простирания именуемой. Не ослыхали-с?

- Да, славное название, - ответил молодой человек, почти с насмешкой взглянув на хозяина.

- Славное название, славное название... - повторил тот, как будто задумавшись вдруг о чём-то совсем другом. - Да, славное название! - чуть не воскликнул он под конец, вдруг вскинув глаза на гостя и останавливаясь в двух шагах от него.

Это многократное глупенькое повторение слишком по пошлости своей противоречило с серьёзным, мыслящим и загадочным взглядом, который он устремил на своего гостя.

- Господни простирания-с, изволите знать, батенька, болезнь такого сорта, что человек, ей занемогший, принимается вдруг думать, что всё, что только с ним ни произойдёт, устроено именно для него, и притом именно как бы господним к нему вниманием. Уж эти-то, приболевшие, они крайне смешны-с, да только не так-то всё глупо оборачиваться имеет право. Вот так, скажем в виде простенького примерчика-с: взялись вы за какую-нибудь штуку, ну хоть за шингалетик какой-нибудь, который больной в своих руках держать изволили, так и всё, батенька, готово дело. А ну ещё книжку какую соответствующую прочтёте. Выскочите, неблагозвучно выражаясь, за границы того, что на сей день вам-с положено, очутитесь, так сказать, в свободном художест-

ве своего рода-с, или в роде того... хе-хе-хе!.. Вот, представьте себе, батенька, хотя бы такой примерчик-с: идёте вы, скажем, по Вознесенскому проспекту и видите на мостовой колечко серебряное, с изумрудиком. Приятно-с, разве ж нет? Радуется и вполне, батюшка, справедливо радоваться изволите, но после, деньков так через пять-шесть, начинаете как бы сомневаться что ли, и прекомическим образом на то же место вернётесь, и будете там точно такое же колечко опять глазами выискивать. Или вот другое: представьте себе, батюшка, молодую женщину, девушку ещё, живёт которая в комнатёнке, походящей более на сарай, имея вид весьма неправильного четырёхугольника. Стена с тремя окнами, выходящая на канаву, перерезывает комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегает куда-то вглубь, так что его при слабом освещении и разглядеть-то нельзя хорошенько; другой же угол уже слишком безобразно тупой. Так как вы, батюшка, порешите, что девице этой так тут быть и распоряжено? или, напротив, - Господь-де ей испытание устраивать изволит? А никак, дорогой вы мой, чего вам тут думать - не про вас всё это, не ваше это дело, батюшка, мысли свои попусту распускать: коли вот распускаются-то, так и значит, что не про вас пока, а это в вас болезнь говорит. Нервы-с, нервы-с, да и лихорадка изрядная: они, червячки то есть

эти беленькие, шустрые, все нервы и косточки—то вам уже изъестъ успели, всего вас уже изнутри источили и заляпали, только про Него теперь и думать умеете. А это, батюшка мой, вовсе не гордости для вашей, и ничего, что так славно называться—с изволит, а болезнь, и презаразная, да притом что больные друг к другу так и тянутся, да ещё и остальных заразить норовят. Вот, знаете ли—с, стихотворец один такой: маленький, шупленький, весь такой в комильфо собою же связанный, губки свои постоянно так натягивать изволили, что жилочки на шее набухали и щиколотки одна об другую при ходьбе щёлкали... так вот ведь, гонимый—с в мире странник, выходит—с один на дорогу, уста прилипать к устам изволили, и страшные дикие звуки всю ночь, ей—Богу, там раздаваться имели место—с... А всё, батюшка, так, да не совсем так—с, безо всяких таких вот математических штучек, чтобы уверовал—де, и сразу тебе — хлоп! — и Царствие Божие тебе в рот и влетит, а я его и проглочу—с, а это уже очень приятно, хе-хе-хе! Вы не верите?

Молодой человек не отвечал, он сидел бледный и неподвижный, с тем же напряжением всматриваясь в лицо хозяина.

"Урок хорош, — думал он, холодея. — Это даже уж и не мышка с кошкой, как было вчера. И не силу же он свою мне бесполезно выказыва-

ет и ... подсказывает; он гораздо для этого умнее... Тут цель другая, какая же? Эй, вздор, брат, пугаешь ты меня и хитришь! Нет у тебя доказательств и не существует вчерашний человек! Но зачем же, зачем же до такой степени мне подсказывать?.."

— Нет, вы, я вижу, не верите—с, думаете всё, что я вам шуточки невинные подвожу, — подхватил хозяин, всё более веселея и беспрерывно хихикая от удовольствия и опять начиная кружить по комнате. — Оно, конечно, вы правы—с, у меня и фигура уж такая самим этим Богом устроена, что только комические мысли в других побуждает. Эй, послушайте старика, серьёзно говорю, батюшка (говоря это, едва ли тридцатипятилетний хозяин действительно как будто весь состарился: даже голос его изменился, и как-то он весь скрючился), — к тому же я человек откровенный—с... Откровенный я человек или нет, как по-вашему? Уж кажется, что вполне: этикие—то вещи вам задаром сообщаю, да ещё и награждения за это не требую, хе-хе!

3

Так пролежал он очень долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. Наконец он заметил, что уже светло по-дневному. Он лежал на диване навзничь, ещё

остолбенелый от недавнего забвения. До него резко доносились страшные, отчаянные вопли с улицы, которые, впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном, в третьем часу. Они-то и разбудили его теперь. "А! вот уже и из распивочных пьяные выходят, - подумал он, - третий час, - и вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. - Как! Третий уже час!" Он сел на диване, - и тут всё припомнил. Вдруг, в один миг всё припомнил. И долго, несколько часов, ему всё мерещилось порывами, что "вот он сейчас, не откладывая, пойти куда-нибудь, поскорей, поскорей!" Он порывался с дивана несколько раз, хотел было встать, но уже не мог. Окончательно разбудил его стук в двери.

Он быстро оглянулся, и что же? - дверь действительно отворялась тихо, неслышно, точно так, как представлялось ему давеча. Он вскрикнул. Долго никто не показывался, как будто дверь отворялась сама собой; вдруг на пороге явилось какое-то странное существо; чьи-то глаза, сколько он мог различить в темноте, разглядывали его пристально и упорно. Холод пробежал по всем его членам. К величайшему своему ужасу, он увидел, что это была та девочка.

Дверь она отворяла так неспешно и медленно, как будто боялась войти. Появившись, она стала на пороге и долго смотрела на него с изумлением, доходившим до столбняка;

наконец тихо, медленно ступила два шага вперёд и остановилась перед ним, всё ещё не говоря ни слова. Он разглядел её ближе. Это была девочка лет двенадцати или тринадцати, маленького роста, худая, бледная, как будто только что встала от жестокой болезни. Тем ярче сверкали её большие чёрные глаза.левой рукой она придерживала у груди старый, дырявый платок, которым прикрывала свою, ещё дрожащую от холода грудь. Они простояли так минуты две, упорно рассматривая друг друга.

- Где старуха? - спросила она наконец едва слышным и хриплым голосом, как будто у неё болела грудь или горло.

- Старуха? да ведь она же умерла! - отвечал он вдруг, совершенно не приготовившись к этому вопросу, и тут же раскаялся. С минуту стояла она в прежнем положении и вдруг вся задрожала, но так сильно, как будто в ней приготовлялся какой-нибудь опасный нервический припадок. Через несколько минут ей стало лучше, и он ясно увидел, что она употребляет над собой неестественные усилия, скрывая перед ним своё волнение.

- Послушай, как тебя зовут?

- Не надо...

- Чего не надо?

- Не надо; ничего не надо...

никак не зовут, - отрывисто и как будто с досадой проговорила она и

сделала движение уйти. Он остано-  
вил её;

- Что же, ты будешь приходить  
ко мне?

- Нельзя... не знаю... приду,  
- прошептала она как бы в борьбе и  
раздумьи. В эту минуту вдруг где-  
то ударили стенные часы. Она вздрог-  
нула и, с невыразимой болезненной  
тоскою смотря на молодого человека,  
прошептала:

- Это который час?

- Должно быть, половина один-  
надцатого.

Она вскрикнула от испуга.

- Господи! - проговорила она  
и вдруг бросилась бежать, но моло-  
дой человек остановил её в дверях.

- Я тебя так не пушу, - сказал  
он. - Чего ты боишься? Ты опоздала?

- Да, да, я тихонько ушла!

Пустите! Она будет бить меня! - за-  
кричала она, видимо, проговорившись  
и вырываясь из его рук.

- Слушай же и не рвись: я  
знаю, куда тебе, и я туда же, рядом.  
Я тоже споздал и хочу взять извоз-  
чика. Хочешь со мной? Я довезу.  
Скорее, чем пешком-то...

- Ко мне нельзя, нельзя, -  
вскричала она ещё в сильнейшем ис-  
пуге. Даже черты её исказились от  
какого-то ужаса при одной мысли,  
что он может опять прийти туда, где  
она живёт.

- Да говорю тебе, что по свое-  
му делу, а не к тебе! Не пойду я за  
тобою. На извозчике скоро доедем!

Пойдём!

Наконец они подъехали к -ой  
улице. Она пристально посмотрела и  
вдруг, с мольбою обратившись к мо-  
лодому человеку, сказала:

- Ради Бога, не ходите за мной.  
А я приду, приду! Как только можно  
будет, так и приду!

Проехав по улице несколько ша-  
гов, молодой человек отпустил извоз-  
чика и, воротившись обратно, быстро  
перебежал на другую сторону улицы.  
Она ещё не успела много отойти, хо-  
тя шла очень скоро и всё оглядыва-  
лась: даже остановилась было на ми-  
нутку, чтобы лучше высмотреть: идут  
за ней или нет. Но молодой человек  
притаился в попавшихся воротах, и  
она его не заметила.

Неотразимое и необъяснимое же-  
лание повлекло его. Он вошёл в дом,  
прошёл всю подворотню, потом в пер-  
вый вход справа и стал подниматься  
по знакомой лестнице, в четвёртый  
этаж. На узенькой и крутой лестнице  
было очень темно. Он останавливался  
на каждой площадке и осматривался с  
любопытством. На площадке первого  
этажа в окне была совсем выставлена  
рама: "Этого вчера не было," - по-  
думал он. Вот и квартира второго  
этажа: "Заперта; и дверь окрашена  
заново; отдаётся, значит, внаём."  
А вот и третий этаж... и четвёр-  
тый... "Здесь!" Недоумение взяло  
его: дверь в эту квартиру была от-  
ворена настежь, там были люди,  
слышны были голоса; он этого никак

не ожидал. Поколебавшись немного, он поднялся по последним ступенькам и вошёл в квартиру.

Её тоже отделяли заново; в ней были работники; это его как будто поразило. Ему представлялось, что он встретит всё точно так же, как оставил тогда. А теперь: голые стены, никакой мебели; странно как-то! Он прошёл к окну и сел на подоконник.

Всего было двое работников, оба молодые парня, один постарше, а другой гораздо моложе. Они оклеивали стены новыми обоями, белыми, с лиловыми цветочками, вместо прежних жёлтых, истрёпанных и истасканных. Молодому человеку это почему-то ужасно не понравилось; он смотрел на эти обои враждебно, точно жаль было, что всё так изменили.

Он встал и пошёл в то помещение, где прежде стоял гроб: помещение показалось ему теперь ужасно маленьким. Обои были всё те же; в углу на обоях резко обозначено было место, где стоял киот с образами.

Молодой человек вышел в сени, взялся за колокольчик и дёрнул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук! Он дёрнул второй и третий раз; он вслушивался и припоминал. Прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало всё ярче и живее припоминаться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и ему всё приятнее и приятнее становилось.

"Так куда же теперь идти?" — думал молодой человек, остановившись посреди мостовой на перекрёстке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда; всё было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, для него мертво, для него одного... Вдруг, далеко, шагов за двести от него, в конце улицы, в сгущавшейся темноте, различил он толпу, говор, крики... Среди толпы стоял какой-то экипаж... Замелькал среди улицы огонёк.

Он оставил замешательство и пошёл, почти побежал; он хотел было повернуть к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно; там-то в углу его, в этом-то ужасном шкафу, и созревало всё это вот уже более месяца, и он пошёл куда глаза глядят.

Таким образом прошёл он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешёл мост и повернул на острова. Зелень и свежесть понравились его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к извёстке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашенной в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдали, на балконах и террасах, разряженных женщин и бегущих в саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел. Встречались

ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы; он провожал их с любопытством глазами и забывал о них прежде, чем они скрывались из глаз.

Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шёл, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и, с первого взгляда, бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться — сначала нехотя и как бы с досадой, а потом всё крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шёлковое, из лёгкой материи платье, но тоже очень как-то чудно надетое, едва застёгнутое и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клочок отставал и висел, болтался. К довершению, девушка шла не твёрдо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Дойдя до скамьи, она так и повалилась на неё, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимо-

му от чрезвычайного утомления. Девушка, кажется, очень мало уже чего понимала; одну ногу заложила за другую, причём выставила её гораздо больше, чем следовало, и, по всем признакам, очень плохо сознавала, что она на улице.

В стороне, шагах в пятнадцати, остановился один господин, который, по всему видно было, очень тоже хотел бы подойти к девушке с какими-то целями. Дело было понятное. Господин этот был лет тридцати-сорока, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками, очень щеголевато одетый и с окладистой белой бородой. Молодой человек на минуту оставил девушку и подошёл к господину.

— Эй вы, Свидригайлов! Вам тут что надо? — крикнул он, смеясь своими запенившимися губами.

— Вас-то мне и надо! — крикнул тот, хватая его за руку. — Поедемте к вам!

— Я, собственно, проститься, — произнёс Свидригайлов, переступая порог и бережно притворив за собой дверь.

— Какой вздор! Быть не может! — проговорил хозяин наконец вслух, в недоумении.

Казалось, гость совсем не удивился этому восклицанию. Молодому человеку ясно было, что это на что-то решившийся человек и себе на уме. Что-то, однако, показалось ему странным.

- Скажите, вы любите уличное пение? - обратился он вдруг к гостю. - Знаете, как поют под шарманку в холодный, тёмный и сырой осенний вечер, непременно в сырой?

- Да, - сухо и как бы с оттенком высокомерия ответил гость. - Непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зелёные и больные лица; или, ещё лучше, когда снег падает мокрый, совсем прямо, без ветру, а? а сквозь него фонари с газом блистают... барочные статуэтки с подкрашенным ртом, глазами и волосами (красный, чёрный и синий цвета на сером гипсе), гирлянды сухих растений, ну и там малиновый плюш стульев и прочая роскошь, как в оперетке, тёмные закоулки, пассаж да-Пти-Пэр; одинокая, крашенная светом из окон собака, забнут фиакры, и из стен галерейки высовывается гипсовая рыба голова (с газовыми рожками, горящими в глазницах) уличной музычки: аккордеон, хриплые двери, шелест шагов... Но теперь не то, теперь я отправляюсь в Америку.

- В Америку? - молодой человек вдруг расхохотался. - Да отчего ж в Америку?

- А что если там одни пауки или что-нибудь в этом роде?! Нам вот она представляется как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг вместо этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской

бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вам Америка. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится.

- И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! - с болезненным чувством воскрикнул хозяин.

- Справедливее? А почём знать, может быть и представляется, - ответил Свидригайлов, неопределённо улыбаясь. - А если б знали вы, однако ж, о чём спрашиваете! - прибавил он вдруг громко и коротко рассмеялся. - Она переменчива, она капризна, она полна терпкой грации резвого подростка. Она нестерпимо привлекательна с головы до ног - начиная с готового банта и заколок в волосах и кончая небольшим шрамом на нижней части стройной икры, как раз над уровнем белого шерстяного носка. На ней было прелестное ситцевое платьице, розовое, в тёмно-розовую клетку, с короткими рукавами, с широкой юбкой и тесным лифом, и в завершение цветной композиции она ярко покрасила губы и держала в пригоршне великолепное банальное эдемски-румяное яблоко. Сердце у меня забилося барабанным боем, когда она опустилась на диван рядом со мной (юбка воздушно вздулась: опала) и стала играть глянцевитым плодом. К этому времени я уже был в состоянии возбуждения, граничащего с безумием: я стал декламировать, слегка коверкая их, слова из глупой песенки, бывшей в моде

в тот год - О Кармен, Карменситочка, вспомни-ка там... и гитары, и бары, и фары, тратам - автоматический вздор, возобновлением и искажением которого - то есть особыми чарами косноязычия - я околдовал мою Кармен и всё время смертельно боялся, что какое-нибудь стихийное бедствие мне вдруг помешает, вдруг удалит о меня золотое бремя, в ощущении которого сосредоточилось всё моё существо, и эта боязнь заставляла меня работать на первых порах слишком поспешно, что не согласовывалось с размеренностью сознательного наслаждения. Фанфары и фары, тарабары и бары постепенно перенимались ею: её голосок подхватывал и поправлял перевертаемый мною мотив. Она была музыкальна, она была налита яблочной сладостью. Её ноги, протянутые через моё живое лоно, слёгка ёрзали; я гладил их. Так полулежала она, развалясь в правом от меня углу дивана, школьница в коротких белых носочках, пожирающая свой незапамятный плод, поющая сквозь его сок, теряющая туфлю, потирающая пятку в сползающем со шиколотки носке о кипу старых журналов, нагромождённых слева от меня на диване - и каждое её движение, каждый шарк и колыханье помогали мне скрывать и совершенствовать тайное осязательное взаимоотношение - между чудом и чудовищем, между моим рвущимся зверем и красотой этого зыбкого тела в девственном ситцевом платье.

Свидригайлов очнулся, встал со стула и шагнул к окну. Он ошупью нашёл задвижку и отворил окно. Ветер хлынул неистово в тёмную каморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо и прикрытую одной рубашкой грудь. Свидригайлов, нагнувшись и опираясь локтями на подоконник, смотрел уже минут пять, не отрываясь, в эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой.

"А, сигнал! Вода прибывает! - подумал он. - К утру хлынет там, где пониже место, на улицы, залёт подвалы и погребца, всплывут подвальные крысы, и среди ветра и дождя люди начнут, ругаясь, мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи... А который-то теперь час?" И только что подумал он это, где-то близко, тикая и как бы торопясь изо всей мочи, стенные часы пробили три. "Эге, да так через час уже будет светать! Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский: там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождём, так что чуть-чуть задеть, и миллионы брызг обдадут всю голову..." Он отошёл от окна, запер его, натянул на себя жилетку, надел шляпу и вышел прочь. "Самая лучшая минута, нельзя лучше и выбрать!"

Теперь в комнате был другой человек: откуда-то, верно из кухни, вошёл человек, ещё молодой, лет около двадцати семи, прилично одетый,

с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с чёрными глазами без блеску.

- Чаю хотите? - спросил он. - Я заварил свежего.

- Что? А... В самом деле... спасибо.

- Пейте. Курите много, окно открою.

- Может, вы голодны? Впрочем, нет ведь ничего.

- Есть? Нет, не хочу.

- Вы его слышали?

- Его? Нет, позже пришёл. Я его знаю. Они всё то же говорят. Я помню.

- А вы? Другое?

- Другое? Нет, зачем. Я не говорю. Зачем говорить.

- Скажите, в тот раз вы говорили всерьёз? Одна мысль, и больше нет никакой? Мне важно.

- Важно, знаю. Каждому важно. Одна, да. Несчастливы, потому что не знают, что счастливы. Если бы они знали, что им хорошо, им было бы хорошо, но пока не знают - им будет плохо. Плохие, потому что не знают, что они хороши. Так.

- И так и ничего больше, так просто?

- Конечно, одна простая вещь.

- Ну нет, слишком убого, одно ж. Одна мысль и всё.

- Нет, не так. Много маленьких, тогда убого. Одна большая нет.

- Опять не то! Много разве от неё счастья? Какое ж тут счастье?

- Не то, что вы думаете. Такое счастья никогда нет. Одна вещь и счастье ни при чём.

- И что, это разве хорошо?

- Хорошо, да. Счастья нет, хорошо. Нет счастья, нет несчастья. Такого нет ничего. Другое совсем.

- Да ведь с тоски околешь от простоты такой.

- Не надо. Вы не скучаете. Возмущаетесь, значит, понимаете, что так. Знаете, согласиться боитесь. Почему.

- Я человек слабый, скажите?

- Нет. Но вы боитесь.

- Чего?

- Того, что нет. Идёмте, она вас ждёт.

- Кто она?!

- Царица Ночи. Не надо бояться. Нет ничего, что бояться.

Он всё говорил шёпотом и не торопясь, по-прежнему как-то странно задумчиво. Вошли в комнату. В комнате было очень темно; летние "белые" петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в комнате с опущенными шторами трудно было бы что-нибудь разглядеть. Но молодой человек уже пригляделся, так что мог различить постель; на ней кто-то спал совершенно неподвижным сном; не слышно было ни малейшего дыхания. Спящий был закрыт с головой белой простыней, но члены как-то неявно обозначались; видно только было, по возвышению, что лежит прогнувшийся человек. Кругом в беспоряд-

ке, на постели, в ногах, у самой кровати на креслах, на полу даже разбросана была смятая одежда, богатое белое шёлковое платье, цветы, ленты. В ногах сбиты были в комок какие-то кружева, и на белевших кружевах, выглядывая из-под простыни, обозначился кончик обнажённой ноги; он казался как бы выточенным из мрамора и ужасно был неподвижен. Молодой человек глядел и чувствовал, что чем больше он глядит, тем мертвее и тише становится в комнате. Вдруг зажужала проснувшаяся муха, пронеслась над кроватью и затихла у изголовья.

- Что же, - неожиданно сказала девочка, большие чёрные её глаза сверкали ярко на фоне общей темноты. - Я пришла, как и обещала. Не беспокойтесь, время терпит, - улыбнулась она, не торопясь по пояс высвободившись от простыни и сев в постели, опершись спиной о подушку. - Вот что, я расскажу вам о... - она задумалась... - я расскажу вам, ну, скажем, о шуше. Шуша или шуш. Но это всё равно. Можете назвать как-нибудь по-другому. Что мы о нём знаем из каких-то дальних времён, что он такой сухой, как бы что ли разлинованный, часто-часто разлинованный, на плотный такой, почти негнувшейся бумаге: ну пергамент какой-нибудь, в общем. Сухо так скрипит, как кузнечики в июне.

Но это совершенно не важно, что когда-то он был таким сухим, потом он был разным, и сухим, и влажным,

каким угодно: так ничего про него не узнать, если не знать, как он себя вёл, что ли. Или как с ним поступали.

Когда-то он был очень большим: даже громадным, из громадных каменных глыб, обрастал мохом, и ему это не вредило, а видно его было так издалека, что и земля под ним даже прогибалась. Тогда к нему можно было даже прислониться, и очень даже запросто: пачкая зеленью одежду и глядя куда-то вдаль, куда глаза захотят. А потом каждый, наверное, кто так стоял, отделял, отковыривал от него кусочек, и шуша стал делаться разрозненным, зато стал быть почти повсюду.

Его вообще-то трудно понять, то есть в руках его теперь держать тоже нельзя, потому что теперь он проскальзывает в нас, как бы какой-то вершинкой пирамидки прямо в темечко: то есть мы его и отличить никогда не можем, потому что было так, а стало этак: и всё. Хотя он вообще-то бывает продолговатым - но всё это не так, чтобы в руках подержать - или жёлтого цвета, или тёплый, или иголка. Его может быть когда-то очень много и очень мало. Но, если заметить и уметь, от него можно отделить кусочек, скатать шарик и кинуть в кого-нибудь, чтобы тому стало хорошо. Он раньше, например, был прозрачным, оконным стеклом с видом сквозь него: с цветами гладко-зелёным, ярко-белым, небольшим, вроде

как земляничным красным. А в другой раз — любил быть темной, рядом с железнодорожными путями, как красный фонарик в вытянутой руке дежурного по поезду.

Вообще-то это очень плохо, что его не видят и не знают, что он есть: потому что все, кто воюет, на самом деле воюют, чтобы он у них оказался — хотя, как он может быть только у них. Но они не знают и не понимают совсем ничего.

Когда-то вообще всё было проще, шум был чем-то вроде капли ртути, которую приятно катать пальцем по строгой бумаге, или каким-нибудь светом сквозь витраж, или женскими голосами в церкви. А потом тоже не так сложно: этими гигантскими водоплавающими машинами с громаднейшими, невозможными лепестками винтов. Но где теперь все эти дубовые столешницы, где жесты кавалеров, подносящих к губам белоснежные манжеты и бокалы с красным вином. Или белые заборы с веточками дикого винограда. Теперь всё по-другому, лучше. Теперь он совсем уже другой: где они теперь, прекрасные сочетания салатного, голубого и розового? Где теперь позолоченные завитушки? Где павлиньи перья и плавное серебро? Куда подевались все пречистые

отроки и почему журчание фонтанов вовсе не настраивает нас уже на высокий лад, но лишь развлекает в духоту? Почему нас теперь так привлекают битые стёкла, задворки и всё, что нас привлекает? А вот поэтому-то.

Видно, кто-то сумел его обнаружить и освободить от обязанности находиться в каких-то специальных предметах: тот, наверное, кто это сделал... я не знаю. Но теперь шума уже не занимает как бы предоставляемое ему место, знаете, как туфелька для ноги, колечко для камушка, а вовсе наоборот.

Он теперь совершенно свободен, не поймёшь, где найдёшь, а где потеряешь, был снаружи, стал внутри, всё прежнее кончилось, и новое началось теперь по-другому: он постоянно везде, он со страшной силой прёт на нас даже в виде вида из окна с кривой водокачкой, шифером крытым складом легкогорючих материалов и прочих веществ, никакое из которых не стоит больше рубля за килограмм своего веса.

Вы совершенно свободны, идите. Вы свободны, все свободны, урок окончен, переменка, впрочем — все уроки окончены, ступайте.

Объяснительная записка  
по поводу текста "Достоевский как..."

Учитывая некоторую несуразность получившегося продукта, автор с удовольствием откликается на предложение редакции "Сумерек" предоставить некоторые объяснения по поводу одного.

Сам текст возник в результате предложения людей, имеющих отношение к Кафедре критической прозы Ленинградского Свободного университета, написать статью для сборника "Символ в культуре" (кажется, так). Некоторое время автор обдумывал способы, как бы лучше уязвить использование символов в художественном тексте, в результате чего статью не написал, а написал этот текст. Он был отправлен - в качестве извинения что ли - составителям сборника; другой экземпляр одновременно был отослан редакции "Сумерек" - в силу симпатий автора к этому журналу, в каковом акте явно проглядывает симпатия автора и к осуществлённому им: по части которого автор, на самом деле, продолжает испытывать некоторое недоумение.

Понятно, что этот текст автором не написан: из 33 страниц текста (в его машинописи) им написано, собственно, страницы четыре, а именно: подстановка вместо Мармеладова Менделеева с соответствующим монологом; монолог псевдо-мещанина-псевдо-Порфирия; диалог с Кирилловым и заключительная сцена. Остальное составляют тексты Ф.М.Д., как-то: "Преступление и наказание", "Униженные и оскорблённые", "Идиот" - собственно, интерьер последней сцены. Кроме того, в тексте есть два вкрапления из "Лолиты". По части сооружения текста можно отметить ещё только то, что производилась, разумеется (помимо очевидной перемонтировки и пр.), некоторая аранжировка текстов исходных, но чисто ритмическая и весьма небольшая: в основном там, где фраза оригинала захватывала реалии мне лишние. Никакое тщательное коллажирование и умственное конструирование места не имело - текст написан в три вечера, и механика его составления наиболее напоминала гадания по книге: что открылось, то в текст и шло - за исключением, понятно, самой его трёхчастности; это, впрочем, позаимствовано, кажется, из гоголевского "Портрета" (сон во сне сна во сне). Иными словами, личные усилия автора присутствуют тут в количестве крайне малом.

Здесь, однако, присутствует и другая история: этот текст

оказался третьим в каком-то таком общем тексте, где первый "Лента с дырками для шарманки" ("Родник" № 12, 1989), а второй - "Четыре поперечных, или Открытое Письмо Лене" ("Родник" № 9, 1990), являясь каким-то их продолжением, но не в литературоведческо-дидактичном смысле, а чисто в технологическом. Последние года два автора интересовала какая-то такая штука, которая находится за собственно словесной реализацией текста, интересовали, естественно, возможности работы с ней: намеренной - понятно, что неосознанно работа с ней осуществляется при написании любого текста. Эту штуку можно назвать "матрицей", что ли (в понимании термина близком Д.Спиваку). Вопрос здесь заключается в том, насколько "матрица" зависит от самого уже записываемого текста (в частности, от фактур, входящих в него при письме). Насколько, то есть, она существует самостоятельно, а насколько зависит от того, что приходит в голову при записи - внося искажения, изменения, достраивая саму "матрицу". Кажется, она самостоятельна и самостоятельна весьма: в первых двух текстах автор занимался по сути прописыванием "матрицы" своими словами, устраивая соответствия ей на уровне разного рода фактур, связь между текстом и "матрицей" оставалась, поэтому, весьма серьёзной. Данный случай, вроде бы, свидетельствует о том, что "матрица" самостоятельна более чем; в состоянии натянуть на себя практически всё что угодно, к тому же оказывается вовсе не промежуточным объектом между автором и записанным текстом, но напротив: промежуточность между автором и "матрицей" оказывается сам текст, словесная фиксация, для читателя которая окажется просто родом упаковки: "матрицы" в слова.

При этом данный ("ДК") текст является для автора его текстом - хотя собственно его слов тут очень мало. Остаётся предположить, что и сам выбор исходных материалов был весьма произволен: сделать этот текст можно было бы и на какой-то другой готовой литературе. Но, кажется, это не так.

Андрей Левкин

Сева Рожнятовский

## ЦИКАДЫ ВОДОЛЕЯ

*Читата есть цикада...*

О.М.

В агонии по водостокам,  
как тени тех, что прошумели  
полные цветов и листьев, —  
лежат разломанные ветки,  
последний взор листков бросая  
со дна потоков.  
Ручей в изломанном асфальте  
котом колючим выгибает спину:  
когда гребёнкой против шерсти  
промчалась щепка,  
на секунду став  
в меня косящим жёлтым его глазом.  
Размокшая извёстка на домах  
и прежде не увиденных заборах —  
вся отвалилась,  
тротуар покрасив  
в неведомую нам Яндзекянг, —  
которая на карте этих улиц  
впадает в мостовую Окияна:  
но всё-таки не вся извёстка смылась,  
и останутся горы и морены  
на карте, попадая под башмак.  
А сверху льёт — на вздох как раз напиток,  
и выше глаз лишь вяжущие опилцы,  
да ткань шумит, —  
вылепливая тело,  
отличное лишь теплотой воды.  
И странно, что бывает где-то люди,  
идущие меж лужами, где суше;  
и странно, что вообще есть где-то люди,  
и, полагая, что вода не вечна,  
престранное словечко ждёт, послушай —  
мол, есть начало и конец: до-жди.

Распалась нежно мысль,  
как прежняя одежда, —  
не это ли Потоп, в котором я — утопший,  
последовательный самый утопист:  
как те, что прежде...

Чьи так же имена писались на воде.

О, света тёмный край, уж за тебя залез я —  
однако же и здесь живут смешные звери,  
бредут куда-то блеклые бетоны  
бездонных урн, окурки — их следы;  
питон трубы ползёт на мутный дом, —  
другой спускается, объедки излагая, —  
газету доедают муравьи, термиты букв;  
слоновой кости — цвет чехла: топорщится  
машина легковая,  
бледнея лбом Сократа, —  
и мысли распускаются цветные,  
жар-птицы вылетают изо лба —  
бензиновые птицы, но вода  
их размывает.

В брезжущих домах

темнеют окна — прежде жили люди;  
теперь каньоны, водопады, склоны  
с пещерами, где теплится сознание, —  
темнеют окна, и темнее здесь.

Но — юным доктором среди ночного бреда  
рукой прозрачной слепоту сотру, —  
и сумрак тучи, вещей сон студента  
после вакхических занятий до утра:  
когда-то было, помните? когда-то —  
на дне подушки голову сломать,  
мал-стрёмно закрутить пир-ушки  
до абажурного — папаня,  
только не в печку, папа:но —  
темно струилось, без лазури.

Как ржавчина съедает латы,  
по лбу струились провода,  
в которые вкрутилось солнце  
тому назад: но повлечёт,  
и плавником, и телом блещет  
легчайший Ихтиос —  
навстречу,  
ваяет рыбок водомёт : уже, над амфорой —  
назвалось.

И прежде чем исчезнуть в бесконечность  
потопа сумрачной дороги в никуда, —  
замечу вам, ведь начинал о ветке:  
чеширскую ухмылочку листа.

Уходящие в небо деревья оставили зеркальца круг —  
сколько смотришь в него, отражения не отмечаешь.  
Да в молочное озеро — сажи потоки бегут:  
как в нарезки ствола заглянула дремучая чаша.  
Ты в начале канала, в подножии, возле цевья —  
пахнет серостью, серой, испугом в тоннеле голодном.  
Ты обманешь себя, надломив взоры от воронья:  
просто в парке дорожка, округлая — если угодно.  
С каждым шагом дорогу легонько стволом подводить, —  
чуть пониже аллеи церквуха курком загорится:  
белый свет нам — копейка, что зеркальцем в дуло гудит,  
мы захлопнем себя, убыстрив промелькнувшие спицы.  
Как на белой пустыне, не воздуха и не холста —  
колкий ветер оттуда, слезой один глаз зажимая, —  
протянулась дорожка; твой пристальный палец устал...  
Чуть фигурой навстречу подвинулась мушка живая.

Он ретривал аргументы вперёд  
судя по хвосту и по

вспомогательным с работами  
и на дурь восток

Кроме того и восточный греб  
уже дело сдвинулось  
в сторону

на землю гребни  
судя по

на суровом сурьме с  
взвешиванием - бачка

Многие вены с цветными  
обитыми в ламповых  
область обитыми в  
бачках

Он упрям расценил в  
поде на грубо и в лабиринте

Он суровее восточными  
он ищет с грубого оброста

В рожке и упрямой сурьме  
на оброста

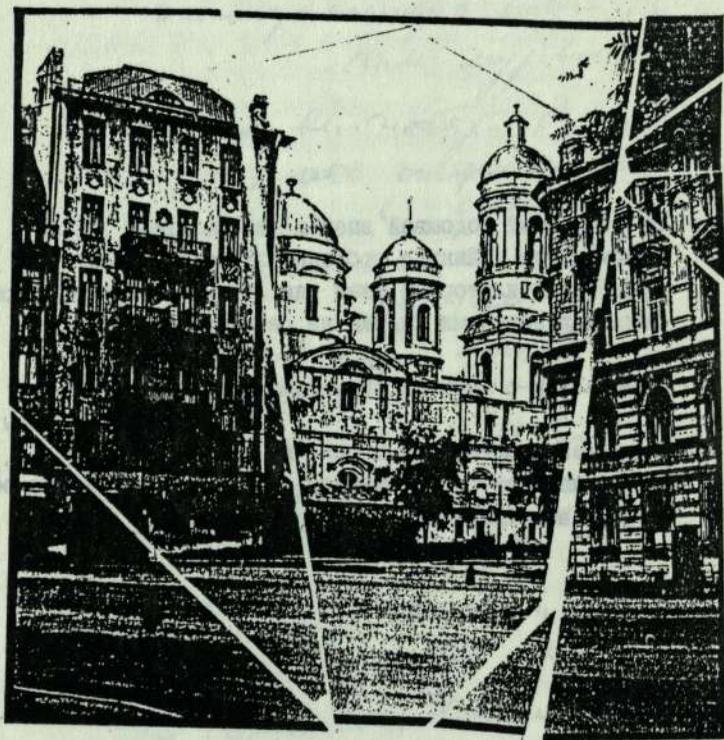
Он ребристой подошвой вперёд перемахивает порог  
волокнустую планку с любознательным муравьём  
Прошёл вентиляторный улей где лето сжужжалось в осадок  
тень над засовами ящериц на серебряном срубе

с названием баня

Мимо ветки с цветами оплывшими в лампочки яблоч

отвинченных в паданцы

Он урезан растениями в пояс по грудь и оглавно  
он скрывается воспоминанием он исчез с горизонта обрыва  
В росе не упавшей следов не осталось



М. НЕПРЯХИН

# ЭТАЖЕРКА

М. Непряхинъ.  
Яковъ Коростелевъ.

Разсказъ.

# СВЕРННЫЯ ЗАПИСКИ

*Литературно-политический  
Ежемесячникъ*

---

---

ІЮНЬ

1916

Сумма 12

Дарья, бойкая сухошавая старуха, твердо была убеждена в том, что миром и жизнью правят только две силы. Бог и деньги. Иных сил она не знала, этим же двум норовила всячески угодить — была набожна и скупа; постилась в Великий пост, в Успенский пост в Филипповки, под Крещенье, под Усекновение Главы и в разных иных случаях, кроме того — круглый год по средам и пятницам, постясь, она считала, что разом делает два добрых дела: душу спасает и копейчку экономит. Яшка же, Дарьян сын, парень лет двадцати пяти, насчет Бога и постов держался легкого образа мыслей, а деньги считал существующими преимущественно для пиршеств и кутежей и, между прочим, побочно, для покупки таких неинтересных, хотя и необходимых вещей, как хлеб, галоши, мыло, гвозди. При таком разногласии удивительно ли, что мать и сын крупно не ладили?

Когда знакомые бабы на базаре спрашивали Дарью:

"Как здравствует сынок ваш, Яков Ильич?" — она с прискорбием восклицала:

"Шарлот, стыдобушка моя! Мыкаю горе: наказал Господь сынком!"

И пускалась в такие подробности насчет качеств и поведения сынка, что бабы сокрушенно качали головами и сочувственно Дарье шептались:

"Милыя вы мои! Батюшки-светы!"

Иногда Дарья укоризненно внушала Яшке:

"Ты хоть бы женился, фармазон! Хоть ба жена-то обравила бы твою рожу! Ну на кого ты похож, посмотришь ты на себя? Ведь этой харей только нечистых пугать о полуночи".

Яшка слушал и равнодушно молчал. Это еще более поджигало Дарью, и она расходилась, как бывало с покойным Ильей Кузьмичом, Яшкиным отцом. Однако Яшка терпел до известной границы, затем у него терпение пропадало, он подходил к матери, фамильярно хлопывал ее по плечу и советовал:

"Ну-ка, маменька: оборот кругом — марш! А не то..."

Он, улыбаясь, вкладывал в рот два пальца правой руки, надувал губы и делал вид, что начнет свистеть. Свист у него получался удивительно зычный, как сирена морского баркаса, и такой едкий, что маменьку "индо о нутра ворочало", как она жаловалась

бабам. Стоило Яшке пригрозить, что он начнет свистать, как Дарья быстро ретировалась на кухню, хотя продолжала и там свирепо ворчать и ругаться.

"Только и спасаюсь свистом", — смеялся Яшка товарищам, потешая их описанием своих схваток с маменькой.

"Ты что не ладишь с ней?" — спросят, бывало, его. "Да что! — сокрушается Яшка, — ругается только: ты, говорит, шелапут, ты, говорит, каторжник. Ты бы, говорит, товарищей бросил, а норови, говорит, пристать к чистым господам! Ругается, а толку мало. Нужны они мне больно... чистые господа!"

Яшка Коростелев был парикмахером и держал собственное заведение, оставшееся в наследство от отца. Образ жизни Яшка вел бесшабашный: пьянствовал, был пугалом горничных соседних домов и сущим наказанием для полицейских и ночных караульщиков, которых решительно не признавал по той причине, что у него бесплатно брился сам квартальный надзиратель Кирилл Семенович. Отношения Яшки с Кириллом Семеновичем были почти дружественные. Когда тот по вторникам и субботам, в досвободное время, заявлялся в парикмахерскую для обычного туалета и, важно покручивая усн, усаживался перед зеркалом, Яшка с готовностью подокакивал:

"Ваше здоровье, Кирилл Семенович?"

"Брей живо", — кратко басил тот.

Это означало, что Кирилл Семенович "не в расположении духа", тогда Яшка ограничивался замечанием:

"Могем-с!"

И уже молча скреб бритвой щеки и шею своего клиента, деликатно упираясь при надобности большим пальцем левой руки в его нос и губы. Если же на приветствие Яшки Кирилл Семенович отвечал:

"Как видишь — прыгаю; ты как?"

То Яшка конфузливо начинал неизбежным признанием:

"Вчера опять жевнул, Кирилл Семенович!"

"Да уж чую: от тебя перегаром на весь квартал разит".

"Веселие Руси есть пити, Кирилл Семенович", — пускал Яшка сентенцию и мылил баки.

"Однако, — поучал надзиратель, — во всем должно блюстить порядок; все хорошо во благовремени и с соблюдением чинности. А ты... гусь известный! Ты опять вчерась кэк-уок танцевал перед ночным извозчиком! Мне Руденко докладывал. Смотри, ты!"

Кирилл Семенович, как бы снисходя к слабостям приятеля, улыбался и грозился пальцем. Яшка знал, чем угодить Кириллу Семеновичу, и торжественно объявлял:

"Какой я новый марш разучил - конфетка!"

Яшка был азартный игрок на балалайке. Целыми днями в свободные часы он вызванивал песни, вальсы, марши, играл с увлечением и превосходно. Дарья костила его за игру на чем свет стоит, считая такое занятие пагубным легкомыслием. А Кирилл Семенович любил послушать; за игру - то он, может быть, и относился столь снисходительно к Яшке. Яшка же бесплатно брил его именно за симпатию к балалайке, а вовсе не потому, как некоторые думали, что подмазывается к начальству. Кирилл Семенович знал весь Яшкин репертуар и, когда Яшка сообщал про новый номер, справлялся:

"Какой марш - военный или бальный?"

"Ферамор, испанский, Кирилл Семенович".

"Ну-ка, удиви!"

Яшка кончал манипуляции бритья и наскоро обтирал одеколоном корявое лицо Кирилла Семеновича; затем кричал подмастерью:

"Васька, аккомпанируй!"

Васька весело кидался из парикмахерской в соседнюю комнатку и выносил оттуда хозяину балалайку, себе гитару. Кирилл Семенович, затылком к зеркалу и лицом к артистам, заложив ногу за ногу, вольно усаживался на стул, похлывал папироской и слушал. Васька брал на гитаре порядка ради два-три аккорда и восклицал:

"Эх ты, матушка загогулина!"

"Начинай", - командовал Яшка.

И к великому огорчению Дарьи, которая гудела на кухне: "Ах, шелапут непутевый!" - в парикмахерской задорно звенел, хохотал ферамор - испанский марш.

-

Парикмахерская находилась на одной из окраинных улиц города. С улицы в нее вел невысокий деревянный рундучок с тремя оббитыми, темно-серыми от давности ступеньками. Над входной дверью хмуро красовалась прибитая вкось черная жестяная вывеска с белыми литерами "Coifer Коростелев Coifer". По обеим сторонам входной двери висели вывески поменьше верхней, изображающие бритье в лицах: туманные дали, стул, белое перепутанное лицо посетителя и жестокая улыбка у того, кого живописец пытался изобразить

парикмахером, а изобразил палачом. В самой парикмахерской, маленькой каморке с низким потолком и одним окном на улицу, стояли по стенам два зеркала; на подзеркальниках лежали бритвы, полотенца, щетки. По соседству с зеркалами на стенах висели объявления парфюмерных фирм о вежетае и красках для волос и олеографии. Все было неопрятно, пыльно.

Будний день в парикмахерской проходил так.

Утром в восемь часов задним ходом через дверь на кухню являлся Васька в сплющенной кепке, в длинном потертом пиджаке, в необычайно широких, но коротких брюках, сзади внизу необычайно грязных, в латаных коробленых штиблетах. Дарья встречала подмастерье неизменно презрительным взглядом и стереотипным приказанием:

"Отпирай, — тот еще дрыхнет".

Васька входил в темное от закрытых ставней помещение парикмахерской, снимал с себя пиджак и облачался в белый грязноватый халат, перекладывая из карманов пиджака в карманы халата папиросы и спички.

"Никогда старая карга чаем не угостит", — думал он, отворяя дверь и ставни.

Затем усаживался к окну и читал "Русское Слово", выписываемое Яшкой. Дарья оставляла открытой дверь из кухни, чтобы слышно было, как входят посетители, а то ведь Васька мог и скрыть, а заработок положить в свой карман. Но утром посетителей почти не бывало, и в парикмахерской стояла такая тишина, что из соседней комнатки явственно доносился мрачный храп Яшки, и от окна было слышно, как бьются о стекла и жужжат мухи. Потом из-за стенки раздавалось:

"Васька! Приходил кто?"

Это кричал с постели Яшка. Узнав, что никого не было, он шумно одевался, громыхал стулом, стуча штиблетами.

"Маменька, — кричал он в кухню, — самовар!"

И усаживался чаевничать.

"Покрепче, что ль, заварить?" — спрашивала мать.

"Покрепче: голова того..."

"То-то... И когда ты очеловечись?"

"Маменька, брось".

Яшка звал подмастерье и угощал его чаем. Просматривал газету.

Вяло говорил про вчерашнее. Потом оба они как-то нечаянно брали в руки — один балалайку, другой гитару — и переигрывали разные номера. Каждый номер они играли уже бесчисленное количество раз, но... все равно нечего было делать. А смотришь: в процессе игры то один, то другой придумывают новое коленце — новые вариации, оттенки, украшения — вот уже как будто удовольствие.

Яшка, быстро перебирая пальцами по грифу балалайки, сидел как-то сторбившись, откинув в упоении голову назад и немного вбок, и ожесточенно, точно в судороге, быстро бил по струнам виляющими пальцами правой руки.

"Как он ловко... черт!" — восхищался Васька и пытался не отставать в искусстве.

"Яков Ильич, — спрашивал он, — зачем это ты мизинец отгибаешь?"

"Для форсу".

"А что это у тебя за колечко с красным камушком?"

"Это, брат, секрет", — отвечал Яшка и наставительно объяснял:

"Ты не подумай чего другого... Кольцу рупь цена, но это для посетителей: пусть думают — золотое. Когда бреешь, он смотрит на руки, ну — видит кольцо. Это важно. Значит, мастер руки в чистоте держит, интеллигентный. Доверия больше. Пониме?"

"Ах ты, фокусник!" — восклицал Васька и тут же решал, что ему тоже, пожалуй, надо обзавестись кольцом, да еще, чтобы перещеголять патрона, отрастить на мизинце ноготь, как делал один банковский конторщик, важный барин, Васькин клиент.

Приходили посетители. Яшка предпочитал сидеть с балалайкой в своей комнатке, а с посетителем, если он был один, управлялся подмастерье. Если же входил еще посетитель, Васька зывал к патрону:

"В зал!".

Тогда Яшка равнодушно клал балалайку на стул и степенно шагал в зал.

Свое занятие Яшка ненавидел всеми фибрами души. Головы и бороды, которые ему приходилось стричь и брить, казались ему чем-то вроде египетской казни. Порой, особенно после изрядной пирушки, представленная ему для обработки голова вызвала в душе яростное желание бить эту голову ножницами, щипцами, чем попало. Однако Яшка овладевал собой и, стараясь быть вежливым, интелли-

гентным, спрашивал:

"Сзади первым номером позволите или вторым?"

Подвязывал посетителя салфеткой и, оттопыривая в сторону мизинец с кольцом, стриг и брил. Чтобы развлечь клиента, начинал разговор:

"Опять, пишут газеты, в Мексике беспорядки".

Посетителю нет никакого дела до Мексики и ее порядков, ему разговор кажется странным, и он неодобрительно мычит:

"М-да... дела".

"Черт вас знает, как вас развлекать", - тоскливо думал Яшка и тянул канитель дальше.

"А мы живем и ничего не видим..."

"У меня прыщик на левой щеке - осторожней", - охлаждал посетитель Яшку.

Иногда Яшка доставлял себе удовольствие пошутить над бритой физиономией - скороговоркой спрашивал:

"На нос вару положить?"

"Что-о?"

Яшка наклонялся к уху и отчетливо повторял:

"Фикстуару положить?"

А Васька неслышным смехом заливался у другого зеркала.

Самая серьезная работа начиналась после обеда, особенно вечером. Приходили приказчики из запертых магазинов, конторщики из банка, шли часто.

"Вечер - он весь день кормит", - наставляла Яшку мать, желая доказать, что не надо торопиться запирать парикмахерскую.

"Но ведь три двадцать выручили, чего тебе еще?" - возмущался Яшка и запирался раньше конкурентов.

"Ну ее к черту, - злился он, - каждый день одно и то же, в кишки въелось".

Из выручки он по традиции половину отдавал матери, полтинник - Васье жалованья, остальные пропивал в складчину с приятелями.

По праздникам Яшка не работал, разве если куда-нибудь к выгодному клиенту на дом попросят. Обычно на весь день с утра пропал к друзьям или их с утра зазывал к себе ватагой, резался с ними в польский банчок, а больше играл на балалайке то в одиночку, то с другими. И пил.

Вообще Яшка был веселый парень. Но иногда с похмелья на него находили тяжелые минуты злости и раздражения. Начиналось это с утра. Напившись чаю, он оставался сидеть в своей комнатке, облокотившись на стол и подпирая руками голову. Дарья уже видела по сумрачному лицу сына, что лучше оставить его в покое, однако не могла утерпеть, чтобы не сказать едкого словечка. С этого и начиналось. Яшка накидывался на мать с упреками:

"Ты только и знаешь — грызть. Сплетница ты — вот что я скажу. Скандалишь с бабами, меня охалишь. А что я? Пока я рос-то, ты меня только палками потчевала. Отец-то отчего гулял? Заела ты его. Хоть и он тебе — два сапога пара. Сколько пропивал? Нет бы мне образование какое ни то дать. А то вот теперь через вас, оголтелых, на всю жизнь циркульник".

"Это ты матери такие слова?"

"Тебе, тебе, — расходился Яшка, — тебе, старая швабра. Ты ведь кто? Ты гримза".

"Это я гримза?" — взвизгивала Дарья.

"Ты, ты — гримза".

Васька жадно слушал издали ругань и хихикал.

"Сцепились!"

"Ты гроши считаешь, крохоборка, — продолжал Яшка, — ты над стаканом чая для Васьки трясешься..."

"Хорошенько ее", — подбадривал про себя Васька хозяина, решительно принимая его сторону.

"Мошенник ты, непочетник, шелапут!" — доносилось из кухни. А в ответ из комнатки вдруг раздавался такой жестокий свист, что случайный посетитель, отворив дверь, столбенел, несколько секунд пятил на Ваську удивленные глаза и опрометью кидался назад по ступенькам преддверного рундучка.

Яшка, грозный и злой, как раненая волчиха, входил в парикмахерскую и кидался на Ваську:

"Ты что ржешь? Развесил уши-то. Оботри зеркала. Что это на подоконнике дохлые мухи валяются? Не можешь смести? Черти! Опивать вы все друзья-приятели, а кроме тоски от вас нет ничего!"

Васька ежился, суетливо тер зеркала, чистил подоконники и пытался протестовать:

"С матерью повздорил, а я при чем?"

"Поворчи еще", — окрикивал Яшка.

Он злобно впивался взором в грязные олеографии и бурчал по адресу красавицы на парфюмерном плакате:

"Ишь ты... выдра!",

Подходил к столикам наводить порядок, но в раздражении ронял на пол бритву или стаканчик, разбивал их и окончательно свирепел:

"А черт вас всех возьми! И не желаю я больше стричь и брить, пропади они пропадом — все волосы и бороды". Бросался в комнату, натягивал пиджак, нахлобучивал картуз и исчезал.

"Куда пропал?" — спрашивала минут через пять Дарья, высовываясь из кухни, удивленная наступившей внезапно тишиной.

"А черт его знает — как с цепи сорвался".

"Ну, ты деньги мне давай".

"Да ладно уж... не украду, не бойся!..."

А Яшка шел на Волгу.

Вид Волги всегда почему-то успокаивал Яшку и вносил в его взбалмошенную душу мир. Почему бы это? Не потому ли, что очень уж беззаботно смеялась Волга своими серебристыми струйками под веселым солнцем? Не потому ли, что в сравнении с ее простором и мощной ширью ничтожными, не стоящими внимания, казались тревоги людей? Не потому ли, что она манила в какие-то неведомые многообещающие голубые дали? Кто знает, почему.

Яшка выходил далеко за город и усаживался на берегу. Так сидел долго, смотрел и думал. Курил и думал. Лениво, без мысли, обирал с земли вокруг себя камешки и катышки земли и бросал в воду. Провожал взором пароходы, баржи, лодки, бегущие мимо вверх и вниз. И думал.

О чем? Беспорядочны были думы. Давеча, как шел на Волгу, встретил гимназистика в форменном пальто со светлыми пуговицами, розового, ясного, и теперь думал:

"Приятно, должно быть, учиться в гимназии!"

А то вдруг являлась мысль:

"Где этот город — Золинген?"

И было грустно и обидно, — за то, что Яшка не гимназист, за то, что не знает, где город Золинген, и за многое другое.

Минутами казалось, что была бы под рукой балалайка — сыграл бы, может быть, стало бы легче.

"Да нет! — мелькало в сознании, — что балалайка? Она деревянная. Поговорить бы с кем душевно."

И думалоось, что вот если бы у Яшки был дедушка, седой, умный и добродушный старик, и сел бы рядышком, и стал бы этак ласково говорить, что жить, дескать, Яшенька, надо вот так и вот этак, — то было бы очень хорошо. Яшка слушал бы старика, покорно и охотно вникая его словам. Но дедушки не было, некому было разъяснить Яшке темные пути жизни.

"К Катьке что ль пойти!" — решал Яшка и к вечеру возвращался в город.

Катька, молоденькая швейка с Никольской улицы, была Яшкина любовница. Познакомились они с ней случайно, где-то на танцевальном вечере зимой, кажется, в ресторане Канарейкина. Познакомился и привязался. То есть не то чтобы серьезно, а так — оюки ради. Была она девка простая, тихая и как бы пришибленная. К удивлению Яшки, денег от него не требовала. К еще большему его удивлению, он оказался первым в ее жизни. А потом он еще в одном убедился: сойдясь с Яшкой, Катька не обращала внимания на других парней.

"Вот дуреха, — подумывал иногда Яшка, — о такой Акулькой беднуживешь!"

Жила Катька серой трудовой жизнью. Была молода, хотелось мужской ласки, Яшка обшел ее красными словечками, прибаутками, залихватской игрой на балалайке — ну она и привязалась к нему. Яшка же, узнав ее поближе и рассудив по совести, что он, пожалуй, хуже ее, приписывал ее верность глупости и за это в душе презирал ее немного. Но никогда не обижал, хоть посещал за последнее время все реже и реже. В те дни, когда на него находила тоска, он обязательно с Волги шел к Катьке.

Она бывала рада. Мигом смастерит в своей каморке, снимаемой у сапожника Козулькова, самовар, сбегает за селедкой, разделает ее с подливкой и луком, достанет водочки и угощает друга.

"Как делишки, Катерина Паллна?" — спрашивал Яшка.

Давешняя раздражительность проходила, оставалась в душе только тихая грусть и жалость к себе, да — пожалуй — к Катьке.

"Ничего, Яша, живу не грущу. Что долго пропадал?"

"Ну уж... сразу — что пропадал. Я человек вольный!"

Яшка всегда в отношениях с Катькой подчеркивал свою независимость и свободу от каких бы то ни было обязательств; Катька принимала это условие и теперь отвечала:

"Да я ничего не говорю... я так только..."

Она наливала рюмочку гостю, рюмочку себе; выпивали. Создавалось подобие мирной вечерней семейной обстановки. Яшке это и нравилось, и было неприятно. Семейная жизнь всегда рисовалась ему в темном свете и почему-то казалось, что все семейные жизни, как две капли воды, должны быть похожи на жизнь его родителей.

"А я, Катюшка, на Волге был", — меланхолически начинал Яшка душевный разговор.

"Что это ты опять?"

"Да ну их всех к лешему! Скучно, Катюшка".

"Где же весело-то, Яша?"

Такая Катюшкина покорность судьбе не нравилась Яшке, он тоскливо сердился:

"И ты... тоже. Уехать бы куда от вас!"

"Брось-ка ты грустить-то, — вкрадчиво ласкалась Катюшка, — сыграй-ка вот лучше".

Подавала Яшке балалайку, которую на свои деньги купила специально для него и бережно хранила в своей комнатке. Яшка начинал брэнчать.

Катюшка смеялась:

"Завей горе веревочкой, Яшенька: все в море будем!"

А Яшка грустно подпевал под балалайку:

... "Синее море, белый пароход

Сяду и уеду я, мальчик, на восток..."

и тоскливо заключал:

... "Погиб я, мальчонка, погиб я навсегда —

Год за годами — проходят лета".

Сапожник знал Яшку и любил его послушать. Он тихонько подходил к комнатке Катюшки и, прислонясь устало к дверному косяку, вслушивался.

"А, дядя Степан! — приветствовал его Яшка и продолжал:

... "Отец мой зарезан, мать моя в Баке,

А сестра родная живет в кабаке..."

"Ишь ты", — замечал сапожник.

"Что ты такую жалостную?" — подавала Катюшка свою реплику. Яшка вздыхал:

... "Э-эх! Погиб я, мальчонка, сгинул навсегда,

Год за годами — прошли мои лета".

Вдруг, тряхнув головой, он обрывал игру, неожиданно щелкал ба-  
лалайку с задней стороны, откидывал ее и возвещал:

"Шабаш! О ревуар мадам".

Затем в припадке грустной откровенности апеллировал к сапожни-  
ку:

"Ну скажи, дядя Степан, за коим чертом мы существуем? Ты вот  
подметки кроишь, Катька лифчики шьет, я — стригу и брею, а зачем?"

"Не нами началось, не мы кончим".

"Может, я в душе-то совсем какой-нибудь художник или министр?"  
— тосковал Яшка.

"Ишь ты... чего тебе надо!" — смеялся сапожник.

За стенкой раздавался окрик:

"Степан, чего лясы точишь?"

Кричала жена Степана. Он воровским манером проглатывал рюмку  
водки, тихонько и наскоро поднесенную Катькой, заворачивал полу  
своего фартука и вытирал мокрые рыжие усы. Потом на цыпочках, та-  
ясь от жены, быстро отбегал к своему табурету. Жена же, именно  
по цыпочкам, догадывалась о рюмке водки и ворчала:

"Не кончишь к завтраму чиновнику латку — он тебя распушит..."

"Никогда не женюсь", — молча решал Яшка, наблюдая семейную  
картину.

У Катьки он засиживался до поздней ночи. И от нее, успокоен-  
ный, но все-таки грустный, тихо шел домой, где мать ожидала его  
пьяным и удивлялась, что ошиблась в ожидании.

На другой день все начиналось и проходило обычно. Понемногу  
Яшка забывал о вспышке тоски и раздражения, забывал про Волгу, а  
Катьку если и вспоминал, то с чувством некоторого пренебрежения.

---

"Русское Слово" Яшка выписывал отчасти в интересах дела: что-  
бы не скучно было иному посетителю за чтением газеты дожидаться  
очереди. Для этой цели газета клалась на специальный круглый в  
углу столик, на котором, все в расчет на того же скучающего по-  
сетителя, вечно валялся старый альбом с видами Киссингена и "Бу-  
дильник" давно прошедшего года в растрепанном переплете. Но Яшка  
и сам любил почитать газету. Ему до тоски примелькались улицы,  
дома и нравы своего города, и потому порой было любопытно узнать,  
как и что делается в других местах. Он хотя и мистифицировал Вась-  
ку своими разговорами с посетителями о беспорядках в Мексике, од-

нако про себя был не совсем равнодушен к Мексике и вообще к Мексикам.

"Вон ведь, — рассуждал он иногда, — как американцы президента выбирают, — тонко придумано".

Воображение его рисовало самые заманчивые картины жизни в других странах. Уж наверное там интереснее, чем здесь, — это не выходило из его головы. Недаром восклицал он у Катьки: "Уехать бы куда!" Однако — куда же уехать? И на какие сантимы? — как он выражался. Он грустно примирялся с мыслью, что, видно, суждено ему торчать парикмахером в этом городе, и только подумывал:

"Дело бы что-ль какое нашлось!"

Кроме стрижки и бритья, никакого дела, однако, не находилось, и Яшка по заведенному порядку стриг, брил, играл на балалайке, кутил с приятелями, а порой впадал в ипохондрию и ходил на Волгу, потом к Катьке.

Как-то раз, перечитывая "Русское Слово" от первой строки до последней, Яшка наткнулся на объявление, приведшее его в телачий восторг. Именно: какой-то М. Лудсен сообщал, что ему требуется для первой-классной гостиницы в Стокгольме, в Швеции, хор русских балалаечников и что он, Лудсен, приглашает опытных игроков адресоваться с предложениями по такому-то адресу.

"Вот это штука, — хлопнул Яшка себя по лбу, — вот так штука! Это судьба, прямо судьба! Шабаш, — решено и подписано: строчу письмо и о ревуар, мадам... Васька!"

Васька подбежал.

"Вот тебе деньги: почтовой бумаги, конверт, марку. Пониме?"

Васька удивился — до сих пор Яшка никому никогда не писал писем. Еще более удивилась Дарья, застав сына за письменными упражнениями.

"Кому это ты?" — полюбопытствовала она.

"Это, маменька, секрет... Я, может быть, в Швецию уеду, надо-ели вы мне... а я вам наверное".

"Куда, куда?" — восторгалась Дарья.

"В Шве-ци-ю".

Дарья знала, что Яшка способен не только в Швецию, но и куда угодно уехать, — без узды парень.

"Ах ты, непутевый! Окстись. Какие у тебя новые фантазии явились?"



"Маменька, брось гудеть".

"Не отстану я, баламут ты этакий!"

"Маменька!" — предупредил ее Яшка, отрываясь от письма и зло-веще вкладывая в рот палец.

Дарья не унималась: положение казалось ей на этот раз серьез-ным.

"Свисти, свисти, разбойник! На мать, как на собаку, свищешь, а? В Швецию? Да я на тебя приставу заявлю".

Яшка успокаивал ее:

"Нет такого закона, чтобы свободного человека в Швецию не пу-щать. Напрасны будут ваши хлопоты, маменька, и к тому же парикма-херская у тебя останется, найми еще кого ни то — чего тебе еще? Какой конфетки с калачом?"

"Верблюды ты, верблюд и есть, да..."

Но Яшка не дал ей разойтись — свистнул и уже без помехи про-должал свое письмо. Писал он так:

"Милостивый Государь, многоуважаемый господин М. Лудсен! Буду-чи весьма польщен вашим многоуважаемым объявлением в газете на-счет балалаечного хора в Швеции, я могу занять у вас место, играю на балалайке все, русские песни, танцы и даже иностранные номера, как ферамор испанский марш. А если что надо будет, не знаю, то стоит только послушать, можете быть надежны. Если при гостинице стол готовый, то сорок рублей в месяц, потому Швеция далеко. А если без стола, то еще примерно столько стоит харчеваться. Ожидаю ваш ответ на мой адрес..."

Тут Яшка написал адрес и крупно подписался:

"Як. И. Коростелев".

"Прибавить что ль, — размышлял он секунду, — что у меня собст-венная парикмахерская?"

И резонно решил:

"Не надо: неудобно".

Так и послал письмо без указания своей настоящей профессии и стал ожидать ответа.

Дарья на базаре слезно жаловалась бабам:

"Яшенька-то мой, сыночек-то мой, а? Новый фортель выкинул: еду, говорит, в Швецию и шабаш!..."

Бабы оживленно комментировали Дарьино горе и возмущались Яшки-ным беспутством. Приятели Яшки усмотрели в его решении отправить-

ся в Стокгольм новый и солидный предлог к выпивкам. А Кирилл Семенович, узнав новость, пожалел:

"Если серьезно, то жаль: бритвы мастер".

Никто не понимал, каким светом наполнила Яшкину жизнь мечта о Швеции. У Яшки создалось такое настроение, будто до сих пор он блуждал в каких-то темных подземельях безнадежно запутанного лабиринта и уже отчаивался найти выход к солнцу, к людям, к жизни, и вдруг — вдали мелькнул просвет. Мелькнул и приподнял дух. Яшка уж не каждый день пьянствовал; предпочитал побольше играть, хорошенько набить руку, чтобы при надобности должным образом поддерживать перед шведами достоинство русской нации.

"Мы им покажем, — ухмылялся Яшка, — знай наших, уважай плешивых!..."



Был поздний вечерний час. Закрыв парикмахерскую, Яшка остался дома и с азартом гремел балалайкой, мешая Дарье уснуть. Вдруг со стороны улицы, доселе тихой, оглашаемой только редким лаем цепных собак, раздались необычные по времени звуки: возгласы, шум, тяжелый грохот каких-то колымаг. Задрожал пол, задрезжала в буфете посуда; Яшка насторожился:

"Что такое?"

Явственно донесся характерный звон колокольчиков, и вопрос выяснился.

"Пожар".

Да, где-то, может быть, совсем близко, был пожар.

Яшка метнулся на двор. Заборы двора и крыши соседних домов, точно спросонья, мелкой дрожью забились в красном трепетном свете недалекого пожара; здания и их стены, все более и более освещаясь и приподнимаясь от земли из ночной темноты, пугливо жались друг к другу в тревоге. А вверху, в небе, волнующимся пятном ширилось зарево. Глядя на зарево, казалось, что кто-то буйно поднимал знамя воостания и скликает, собирает из дальних концов своих темных сообщников.

Улицы гудели от сбегавшейся толпы и медного лязга пожарных чашей. Яшка — как был без шапки и в жилетке на нижней рубашке — выскочил за ворота, присоединяясь к бегущим.

"Где горит?"

"Берегись!... Эй, эй".

"Тише напирай!"

Проскакали стражники, промчался на дрожках полицеймейстер. Люди бежали. Что с ними случилось? Они были совсем не те, какими Яшка привык их видеть. Все было оживлено, говорили повышенно громко; глаза и лица бегущих казались горящими каким-то внутренним огнем. Но ужаса не было в лицах, не было его и у Яшки: было какое-то острое любопытство. Словно всем этим людям, утратившим интерес к жизни, привыкшим к сонным степенным движениям, тускло и вяло смотревшим доселе на Божий мир, — какой-то веселый бесшабашный волшебник неожиданно задал даровой, глуже-интересный, сказочный колдовской фейерверк.

"Эх, братцы, как польщит!"

Братцы? Кто это крикнул? Все равно: слушали все.

Горело на соседней улице. Яшка быстро добег и неожиданно для себя вступил в жаркую полосу яркого света. На тротуарах, противоположных горящим зданиям, густо и шумно толпился народ. Среди улицы в разных местах передвигались с гудким звоном пожарные повозки, кое-где топтались верховые стражники. Около тротуаров стояли насосы, а от них по дрожащей четко-светлой мостовой в змеиных изгибах тянулись к огню пожарные рукава, извиваясь и ползая по земле от передвижений пожарных в блестящих касках с медными трубками в руках. Белые на фоне пожара струи воды с треском вылетали из трубок и веером рассыпались по пламени. Шипело, трещало, звенело, гудело.

"Качай, ребята!" — раздавалось у насосов. Десятки парней энергически качали насосы, — вверх, вниз, вверх, вниз.

"Воды! Бочка — сюда".

Громыкала телега с бочкой и опять: вверх, вниз, вверх, вниз.

Яшка бросился к насосам — качать.

"Куда попер?" — крикнула было Дарья, очутившаяся неожиданно рядом, но Яшка не удостоил вниманием.

Вдруг около Дарьи сгрудился народ. Раздались возгласы, произошло смятение. Яшка обернулся. Но причиной была не мать: толпились вокруг какой-то женщины в изодранной кофточке, в ночной юбке, с растрепанными волосами, с перекосившимся в ужасе лицом и истерически кричавшей:

"Батюшки мои! Петька! Ой, Петенька!".

"Что такое?"

"Мальчонка у ней там остался", — объяснил кто-то Яшке.

"Где?"

Показали на хибарку с пылающей крышей: там уже слышался треск воды, шипение, звон разбиваемых и лопающихся от жара стекол, грохот стропил под кричьями пожарных.

Яшку приподняло. Ударило в голову. Насосы, толпа, пожар — все прошло из глаз. Звуки замерли. Осталось одно: хибарка, зияющее в ее стене темное изнутри окно и там, за окном, Петька.

"Господи... благослови..."

И не сводя глаз с темного изнутри окна и не нагибая головы, чтобы среди рукавов, крючьев и бревен рассмотреть свой путь, Яшка бросился туда. Дарья в диком изумлении немо всплеснула руками, толпа стихла и замерла от неожиданности.

Какой-то господин, в манишке и с тросточкой, внушительно и солидно бросил:

"Молодец, парень".

Спорящие вблизи косо посмотрели на манишку.

Яшка вырвался в окно и в едком дыму, под грохот стропил шарил по комнатам, искал Петьку. Пламя взвиваями лизало уже верхние части стены; шелестели и коробились ссыхающиеся шпалеры. Яшка часто мигал, спасая глаза от едкого дыма, и шарил. Попал рукой в какой-то горшок на столе.

"Куда я к черту полез?"

Стало на минуту жутко. Вдруг захотелось броситься назад и бежать без оглядки, бежать от ужаса буйной стихии. Но где-то совсем близко послышался детский плач. Яшка погасил в своей душе проснувшийся было страх и ошупью двинулся вперед.

Он очнулся среди улицы. Точно только что родившись на свет, с недоумением разглядывал он на своих руках мальчишку. Тот в перепуге неистово орал и злобно бил кулачками своего спасителя по губам, дрыгая ногами и вырываясь; было ему не более двух лет. Яшка не отводил лица от Петькиных ударов и изумленно всматривался в свою добычу.

"Вот дурной, вот дурной", — тихо шептал Яшка.

А в душе его взвилась, звенела какая-то острая любовь к этому слонявому существу, точно Петька был чем-то страшно драгоценным для Яшки, точно Петька был тем центром, к которому, неведомо для

Яшки, сходились все радиусы прошлых дней, и теперь только понял это Яшка.

"Вот дурной, вот дурной", — удивлялся Яшка и с непонятной для себя почтительностью к Петьке добавлял:

"Вот чудак человек".

Подбежал народ, хотели взять ребенка из Яшкиных цепких объятий. Яшка зарычал:

"Матери отдам... где мать?".

Всполыхнулись крики:

"Где мать?".

"Где мать?".

"Мать где?"

"Мать!"

Петька в новом испуге от толпы и криков перестал брыкаться и в ужасе стих. Яшку подвели к матери.

"Получай".

Та тихо и молча, словно не веря спасению сына, взяла из рук Яшки ребенка, судорожно прижала его к своей груди и вдруг истерически зарыдала. Ее увели.

А Яшка совсем очнулся. Минуту постоял, посмотрел вслед Петьке. Потом с таким чувством, точно у него отняли что-то очень ценное, незаменимое, и теперь — все равно, подумал:

"К насосам что ли пойти?"

Но от слабости не мог двинуться, прислонился к забору.

"Ты молодчина, — подошла к нему манишка, — вот тебе на водку...

Мелькнула кредитная бумажка. Яшка секунду смотрел на манишку и вдруг устало сказал:

"Пошел прочь, дурак".

Толпа весело и сочувственно Яшке громыхнула нервным хохотом.

Манишка дрогнула и оскорбилась:

"Ты что же лаешься, животное..."

Но кончить не удалось: какой-то мужик мягко, но увесисто наложил руку на плечо манишки и, выволакивая ее в сторону, урезонивал:

"Брось, барин, не замай, отдохнется..."

... Соединенные усилия людей, машин, насосов, воды понемногу укрощали буйного волшебника. Огонь удалось локализовать, соседние с горевшими дома были уже в безопасности. Зарево меркло. Пожарные заливали остатки пламени. Толпа таяла. Медленно расходи-

лись люди, утомленные жгуче пережитым зрелищем фейерверка буйного колдуна и обнадеженные Яшкой в чем-то очень хорошим.

К Яшке подошла Дарья и сдержанно заворчала:

"Что деньги-то не взял? Оттянуло бы тебе кармал-то что ли?"

"Оставь, маменька", — устало протянул Яшка и вслед за другими медленно пошел с Дарьей домой.

Зарево гасло. Заборы, дома и крыши тускнели, словно успокаивались, укладываясь снова спать. Очертания зданий быстро сливались в ночной темноте. Тускло мигали ночные фонари и, казалось, удивлялись: "Зачем же было подымать такой шум?" Из центральных улиц города доносился мирный треск извозчичьих пролетов.

"Вот дурной", — вспомнилось Яшке.

---

Яшке почему-то казалось, что теперь все пойдет по-иному, не так, как раньше. Было странное состояние ожидания, что вот теперь что-то явится новое, небывало светлое. Перед этим ожиданием светлым поблекла даже мечта о Швеции. Яшка стал как-то сдержаннее, серьезнее, и головы, подставляемые ему для стрижки, казались более близкими и какими-то понятными.

Однако все шло по-прежнему: Дарья ворчала и считала куски, Васька кричал "в зал"; под ножницами равнодушно ползли и падали на пол чьи-то волосы. Так изо дня в день. Это становилось похоже на насмешку и рассеивало народившиеся было надежды.

И Яшка опять как-то вечером отправился к приятелям и напился. Вспомнил про Швецию, раздражился.

"Все вы черти, — кричал он, пьяный, собутыльникам, — голоштанники драные! Уеду я от вас".

"Сам-то хорош, — угрожающе напомнили голоштанники, — уезжай, и черт с тобой!"

Слово за слово — дело обернулось хлопотливо: в драку. Вспомнили старые счета, взаимные долги и обиды. А главное: ударил в буйные головы хмель. Разделились парни на партии и дрались. Кто-то бросился бежать, и скандал выплеснулся на улицу. Сбежались ротозеи. Постовой свистнул караульщикам, и Яшку с приятелями представили в полицейский участок.

"Что за народ?" — грозно окрикнул пьяную ватагу Кирилл Семенович, дежурный в ту ночь.

"Буянили... пьяные, дрались", - докладывали караульщики.

"А, неугомонные!... Кто ты такой?"

Спрошенный пустился было в объяснения:

"Да я... как перед истинным! ... Он сам... Меня Митька мазанул, - что же у меня рожа бесплатная, что ль?..."

"Молчать, дурак! После разберут. Фамилия?"

"Афонькин, Семен..."

"Адрес твой, где проживаешь?"

Кирилл Семенович хмуро записывал в книгу происшествий фамилии и адреса. В канцелярии было грязно, скучно, густо пахло табачным дымом и гнилью, висаячая лампа ехидно коптила, хотелось спать, а тут эти дебоширы. Кирилл Семенович злобился.

"Ты? - вопросительно обернулся он к Яшке и, узнав его, затрясся в раздражении, - ты коновод, знаю я тебя! Давно пора в клоповник, балалаешник свинячий!"

"А... ферамор-то?" - удивился было Яшка, но сдержался, не спросил и с чувством новой обиды от жизни пошел вместе с другими в клоповник.

Утром, после отвратительной ночи, выпустили всех. Начинающийся над городом день смеялся над Яшкой. Сердце сжималось от тоски и обиды. Казалось, что все тыкают в него пальцами и шепчут: "Вот он, вот он, Яшка Коростелев, цирульник, свинячий балалаешник! Вот он!"

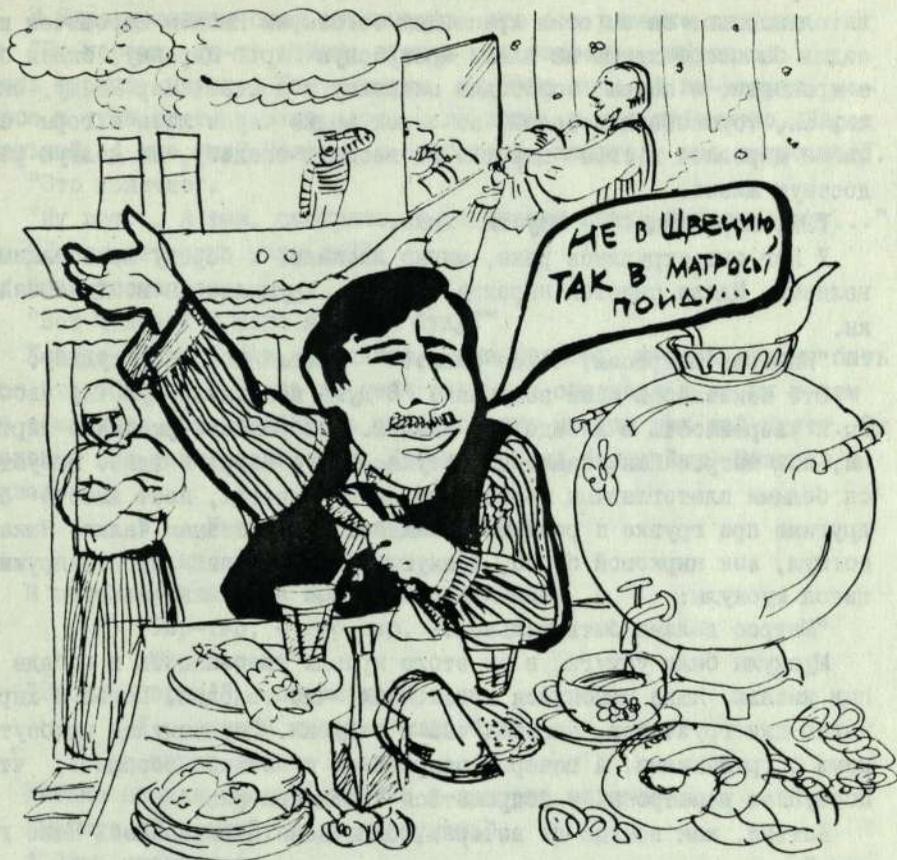
Дома Дарья встретила сына, как водится, бранью. Васька сообщил, что приходили посетители, а управиться с ними было некому. Яшка нечаянно посмотрел на себя в зеркало и, увидев лохматую, всклокоченную голову, синяк на лбу и соломинку в усах, упал духом. Он сел у стола и подпер руками склоненную голову.

"Эх, Яшенька", - вздохнул он жалобно.

А стены хохотали. И казалось, что они напирают со всех сторон в намерении вдребезги раздавить Яшкину голову. Яшка тусклым взором щупал стены: напирают, раздавят - бездушные!

Тяжело и мучительно ворочалась в душе глыба тоски. Опять вспомнилась Швеция.

"И какого черта он не отвечает? - зло подумал Яшка про Лудсена, - э! все равно, - он решительно махнул рукой, - уеду куда глаза глядят, пропади все пропадом".



"Выпей чай", - советовала Дарья.

"Не хочу, не надо".

Он схватил фуражку и отправился на Волгу.

Был ясный солнечный день - глядеть бы да радоваться! Зеленым бархатным ковром раскинулись на том берегу Волги безграничные луга.

"Улететь бы туда птицей!"

Вспомнилась Яшке одна минута из далекого детства. Тогда он откуда-то достал чудесную книжку про Жар-Птицу и с восторгом зал-

пом прочитал ее. И так захотелось тогда, чтобы все то стало действительностью: он бы стал красавцем богатырем Иваном Царевичем и ездил бы освобождать из плена прекрасную Марию Царевну, бился бы с драконом, а потом, освободив пленницу и достав Жар-Птицу, скакал бы, торжествуя победой, на сером волке через леса и горы с милой царевной в свое царство на веселую свадьбу, на долгую радостную жизнь.

"Эх, Жар-Птица!" - грустил Яшка.

У ног его струилась река, мягко ласкаясь к берегу шелестящими волнами. Вдали свистел пароход; пищали, кружились в воздухе чайки.

"Наймусь матросом, - все равно!" - решал Яшка свою судьбу.

Это показалось даже заманчиво. В душе вспыхнуло чувство свободы и уверенность в победе над жизнью. Воображение рисовало картины, как матрос Яшка ездит по матушке-Волге вверх и вниз, любуется белыми златоглавыми церковками на ее берегах, поет вместе с другими при грузке и размашисто кидает по пристаням чалки. Яшка согнул, как цирковой борец, правую руку и пощупал левой напряжившиеся мускулы:

"Матрос должен быть сильным!"

Мускулы были упруги, и от этого крепла уверенность в победе над жизнью. Яшка улыбнулся и вспомнил, что голоден. Пошел в харчевню для грузчиков, напился чаю и закусил. Перекинулся прибаутками с грузчиками. А вечером отправился к Катьке: сообщить, что поступает в матросы, и попрощаться "остатний раз".

Катька, как всегда по вечерам, была дома и показалась Яшке грустной.

"На кой ляд я пришел?" - начал было он досадовать. Однако, как всегда, сели за самоварчик, выпили по рюмочке.

"Прощай балалаечка", - кинул Яшка загадочно, взяв в руки балалайку.

"А что?" - подхватила Катька.

"В Швецию не попал - поеду по Волге".

"Куда?"

Яшка серьезно объяснил:

"В матросы поступаю, Катерина Паллна".

Катька недоверчиво усмехнулась:

"То в хор, то в матросы... Зря ты все!"

"Нет, право: решил в матросы..."

И Яшка деловито стал доказывать, что его решение твердое.

"Во-первых, ты-то пойми: стричь мне надоело — обрыдло!...

Мать ворчит. Скучно. Ни ты людям, ни тебе люди. А во-вторых, матрос и туда едет, и сюда едет, куда хошь, и все любопытно. Народ вольный. А мне что? Человек я свободный, капиталу все равно нет".

"Это конечно".

"Ну вот... А там, смотришь, и до Швеции когда-нибудь доеду..."

"Да ты серьезно, что ль?"

Яшка засмеялся:

"Вот чудная! С чего я врать буду?"

Катька вздохнула и замолчала. Яшка подумал, что ей должно быть все это обидно, но ведь он себя ничем не связывал и ее ни в чем не обманывал, обещаний ведь не было, что всегда при ней будет. Он захотел все-таки развеселить Катьку и взял балалайку. Заиграл и запел:

"... У тальянки медны планки,  
Тонки, звонки голоса ..."

И защелкал языком в припев к балалайке:

"Тир-тар, — тир-тар, —  
Тир-дар-да".

"Весело парню!" — подумала Катька.

"... чтоб милой слышно было  
через темные леса".

Катька налила еще по рюмочке и покорно соглашалась:

"Ну что ж? Прощай, коль не шутишь".

А Яшка продолжал:

"... Шляпку модную надела

Катька задом наперед,

Насмешила всю гулянку,

Распотешила народ".

"Ну, выпьем на прощанье", — предложила Катька.

"Выпьем, душа моя, выпьем".

Выпили. Яшка опять затянул:

"Прощай, милка, я уеду,

Не увидишь мово следу".

"Стой, Яша, — шепнула Катька и посмотрела на дверь, — стой, я тебе чего скажу".

"Ну?" — Яшка остановился.

Катька покраснела:

"Беременна я..."

Яшка даже вздрогнул. "Так и есть", — пронеслось почему-то в голове.

"Чего брешь?"

Катька повторила.

"Да как же... что же это?" — забормотал Яшка. Хотел было разозлиться, ругаться, оскорбить Катьку грубой фразой: "А мне какое дело?". Но вдруг вспомнился Петька, пожар... "Вот оно что!" — стукнуло в сознании. А в душе вспыхнуло то чувство нечаянной радости, как и тогда, когда он стоял с Петькой — среди улицы. Но еще ярче и пламеннее вспыхнуло то чувство.

"Вот дурная!" — пронеслось в голове. "Как тогда, как тогда!" — вспоминался Петька. "Но ведь этого у меня теперь никто не отнимет!" — вздрогнул Яшка.

"Да ты... врешь ты! — гневно крикнул он и побледнел, — ты привязать меня хочешь..."

Катька испугалась крика и зашептала: "Тихе, Бога ради... я не к тому... езжай, — я так... я ничего..."

Яшка вскочил. "Так вот оно что!" В душе звенело чувство безудержной радости, и если тогда, на пожаре, Петька почувствовался, как некий центр, к которому, неизвестно для Яшки, сходились радиусы прошлого, то теперь казалось, что отыскан новый центр, такой, из которого лучезарно, горделиво расходились во все стороны, как лучи от восходящего солнца, радиусы новой плоскости — будущего.

"Катюша! — радостно залепетал Яшка, — да ты правду что ль?"

Катька всхлинула в волнении, но сдержалась и, утирая кулаками, по-детски, слезы, подтвердила:

"Верно, Яшенька".

"Что же ты раньше-то... да ты бы... Эх, ты!"

"Да разве раньше... вот чудака человек".

"Как тогда, как тогда!" — вспоминал Яшка.

К двери подошел Козульков, привлеченный Яшкиными возгласами и надеждой на рюмку водки. —

"Что за шум, а драки нет? Яков Ильич!"

Яшка бодрой походкой подошел к сапожнику и засмеялся:

"А я, дядя Семен, женюсь..."

Катька ахнула. Дядя Степан что-то сообразил и веско одобрил:



"Давно пора, Яков Ильич: мы уж с Катериной-то Павловной заждались..."

"Ну... уж! ..." — пробормотала в смущении неожиданная невеста.

"Женюсь, дядя Степан. И все — по боку. О ревуар, мадам! Дело настроя, налажу: приходи бриться. И шабаш! Жил-был Яшка, а теперь конец. Ура, Петька!"

"Какой Петька?"

"Все равно — ура".

М. Непряхин

Владимир Уфлянд

Баллада  
и  
плач  
об окоченелом трупе

в канонической интерпретации,  
где форма превалирует над содержанием,  
а смысл затемнён нарочитой инверсией  
и употреблением архаической лексики.

Однажды повседневный  
Я мнил продолжить труд.  
Вдруг вижу посинелый,  
Окоченелый труп.  
Пронзил меня насквозь  
Разряд внезапных молний,  
Когда ужасный гость,  
Сухую кость, как трость,  
На гвоздь повесив, молвил:  
"Твой ужас понимаю.  
Продрогнув на ветру,  
Я всем напоминаю  
Окоченелый труп.  
Похож на привиденье,  
Покинувшее склеп.  
Бери с собою деньги,  
Ступай за мной вослед.  
Мы оба не в могиле.  
Нам свыше отпущ дан.  
Представь, что я Вергилий,  
А ты зовёшься Дант".  
Я труд свой отложил,  
Оставив напоследок,  
И денег одолжил  
До завтра у соседок,  
С домашними простился  
И, выйдя дома из,  
За трупом в путь пустился.

Он в темноте светился,  
И от него струился  
Приятный магнетизм.  
Поодаль гастронома  
Сверкал стеклянный куб.  
Велед купить спиртного  
Ожоченелый труп.  
Мы выпили немного,  
И, оживившись вдруг,  
Сказал: "Мне всё здесь ново," -  
Ожоченелый труп.  
"На месте сих построек  
Стоял дремучий лес.  
В нём жил один разбойник.  
А ныне он исчез.  
Там было лишь кладбище,  
И пепелище тут.  
Теперь стоят жилища,  
И новые растут.  
Скупых огней плеяды,  
Убогий блеск витрин -  
Не то, что звёзд брильянты.  
Жить стало неприятно.  
Душа горит внутри."  
Решили мы добавить.  
Не стало сил терпеть.  
Я, выпив, начал падать.  
А труп утратил память.  
И захотелось петь.  
Любезный Эмпедокл,<sup>х)</sup>  
Меня ты осуждаешь,  
А сам вина глоток  
При этом осушаешь.

---

х) Эмпедокл из Агригента, 490-430 гг. до н.э., - древне-греческий философ-материалист, поэт, оратор, врач, политический деятель.

В данном стихотворении - условное мужское имя.

Ты пьёшь иной напиток  
И соблюдаешь меру,  
А мы пьём бормотуху,  
Устраивая брюху  
Подобье адских пыток.  
Но в том наш символ веры.  
Распив ещё полбанки,  
Разбил нас паралич.  
Две средних лет гражданки,  
Грузившие кирпич,  
Увидев нас, в грязи  
Лежавших, подобрали.  
Стоявшие вблизи  
Их громко одобряли.  
Пока они сгибались,  
Неся нас на плече,  
Мы тихо улыбались  
Пленительной мечте.  
И объяснял мне жестом  
Окоченелый труп,  
Что в общежитье женском  
Мы ночь проспим с блаженством,  
Впивая нежность губ.  
Так вдоль мы плыли улиц,  
Не предвкушая зла.  
Но у прелестных грузчиц  
Судьба нас отняла.  
Велением судьбы  
Мы вновь валялись в лужах,  
Врезались лбом в столбы,  
Катались в Спецмедслужбах.  
Я сам почти стал трупом,  
Любезный Эмпедокл,  
И счёт утратил суткам.  
И пробудился утром  
Один вдали дорог.  
На ветках птицы свищут.  
Сияет гладью пруд.

А в нём баграми ищут,  
Наверное, мой труп.  
Напраеная причуда  
Искать его в воде.  
Мой труп везде и всюду,  
А значит, что нигде.  
Он этот мир вторично  
Сменил на мир иной.  
Судьба его трагична:  
Не быть ему со мной.  
Он снова канул в вечность,  
Чтоб век я горевал,  
Что с ним опять не встречусь.  
Он был мой идеал.  
Он честностью искрился,  
Любил друзей и жён,  
Но в неизвестность скрылся,  
В небытие ушёл.  
Небес прозрачный купол ;  
Сияет чист и крут.  
Побольше было б трупов  
Таких, как этот труп.  
Отважный, он погибнул  
Событий по вине.  
Он дважды нас покинул,  
Чем дорог нам вдвойне.  
Славянки, ваш поклонник,  
Сиротки, ваш отец,  
Он труп, но не покойник,  
Он труп, но не мертвец,  
Любил вино погибший  
И был в любви знаток.  
Я стать хочу таким же,  
Любезный Эмпедокл.  
И следом за собой  
Зову тебя я в трупы.  
Сыграет нам отбой  
Оркестров страстных труб.

Кончину примем вместе,  
Войдём в число теней.  
Мы все достойны смерти  
И рождены для ней.  
Судеб пройдя горнило,  
Спеши сойти во мрак,  
Пока твою могилу  
Не занял злейший враг.  
Трудись, ходи за плугом,  
Пей, знай в закуске толк,  
И в срок ты станешь трупом,  
Любезный Эмпедокл.  
Дели обед свой с другом,  
Ешь углевод, белок,  
Питайся хлебом, супом,  
Капустой, кашей, луком,  
И в срок ты станешь трупом,  
Любезный Эмпедокл.  
Не уступай недугам,  
До дна испей лекарств,  
И в срок ты станешь трупом  
В итоге всех мытарств.  
В челноке ракеты углом  
Мчи сквозь млечный звезд поток.  
И в срок ты станешь трупом,  
Любезный Эмпедокл.  
Днём, ночью, в вечер, утром  
Люби. Любовь есть долг.  
И в срок ты станешь трупом,  
Любезный Эмпедокл.  
Люби во имя этой  
Ищи любой предлог,  
Сном и бюджетом жертвуй,  
В чертог попав, блаженствуй,  
Любезный Эмпедокл.  
В премудрости будь глупым.  
И святостью греши.  
Во зле будь добр. И трупом  
Скорее стать спеши.

Мы с каждым часом старше.  
И всех нас, Эмпедокл,  
Схоронят, но не раньше,  
Чем завершится срок.  
Печаль развеет ветры.  
Дождь смоев все грехи.  
Мы будем трижды смертны  
Науке вопреки.  
Жизнь есть воспроизводство  
Других людей людьми,  
Труды, противоборство  
С супругой и детьми.  
И если, встретив друга,  
Вернёшься пьян и мудр,  
Опять простит супруга.  
И дети вновь поймут.  
Нас ожидают дома,  
Любезный Эмпедокл.  
Закрты гастрономы.  
Остался эпиллог.  
Вернись в свою квартиру,  
Немыт, избит, раздет,  
Семье ответь правдиво,  
За кем ушёл вослед.  
Скажи, что ради внуков  
За истиной ходил,  
Певцом был сладких звуков,  
Был правды громкий рупор,  
Скажи, что видел трупов,  
Был сам из них один.  
Знай: истину не прячут,  
В ней есть целебный яд.  
Пусть радуются, плачут,  
Ликуют и скорбят.

*Автор оставляет за собой  
право вносить исправления в стихи-  
Хамбургской теме по мере измене-  
ния своей позиции в отношении  
Варшавы, Рима, смерти и стихос-  
ложения.*

*Автор.*

*Ленинград, 1977 год, январь.*

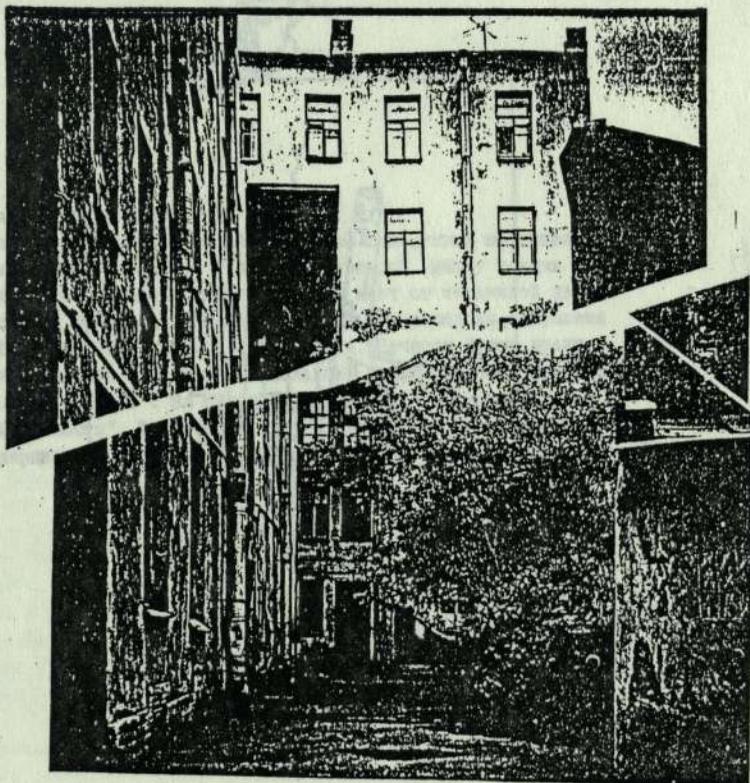
Автор оставляет за собой право вносить исправления в стихотворный текст по мере изменения своей позиции в отношении вопросов бытия, смерти и стихосложения.

Автор.

Ленинград, 1977 год, январь.

ВЯЧЕСЛАВ БЕЛКОВ

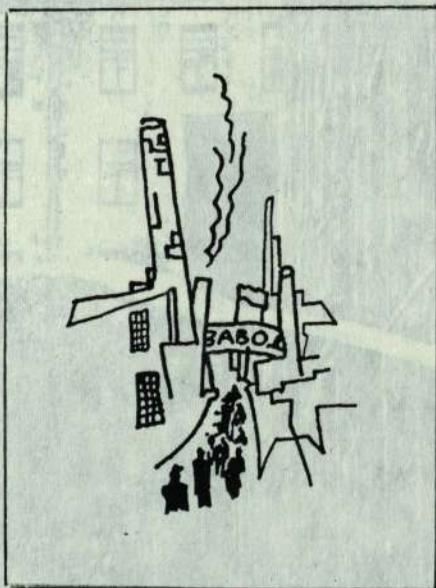
# НЕ ГОРОД РИМ ЖИВЕТ СРЕДИ ВЕКОВ



Сумерки 12

Вячеслав Белков

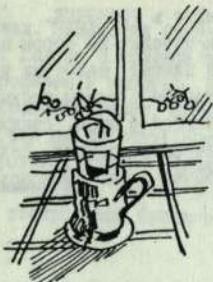
# ФИНИКИЙСКИЙ ХУЛАХУП



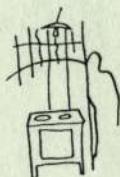
Грядущее светлое завтра.

Через час заревут фабричные трубы. Трудовой народ просыпается. Репродуктор щёлкает и молчит. За стенами тёмных жилых домов трезвонят заводные будильники. Оранжевый абажур с кистями, тень от него на потолке и стенах серого цвета. Кочерга у железной, полу-круглой, радиаторной печки - буква "Г". Часовые великой родины начеку. Мёртвый сон могучей страны. Ночной бомбардировщик пролетел над городом. Первая смена рабочих встанет по гудку.





Мы живём под чердаком.  
Между окон гроздь рябины на вате. Стакан в жестяном подстаканнике с рельефным орнаментом и выпуклой звездой. Между тазами на кухне, на гнущем гвозде подвешен пудовый ключ от чердачной двери. Стена кухни до половины покрыта извёсткой, от середины покрашена буро-зелёной масляной краской, кант синий. Вечером будет драка. Ночь приснится сон. Летом ловят мальков, головастиков и тритонов. Песня "Москва - Пекин". За окном повисли дымь. Изнывающий гул "летающей крепости". Трясётся буфет, звякают рамки и полоски стёкол на дверцах. По льду рек ходят люди. Вяткин с маньней был липлутом.



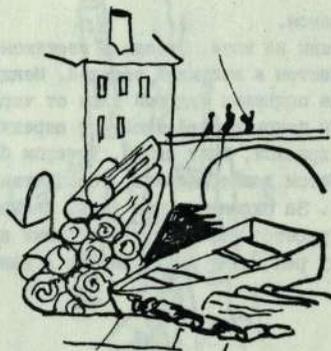
Лютует классовый враг,  
ветер гуляет в открытых вольерах зверинца. Жилья не хватает, матежи с дочерьми спят "валетом". Дворник фанерной лопатой пробивает дорожку в снегу, наледь сбивает скребком. К проводу лампы привязана лента "липучка" для мух. На тумбочке, под бронзовым пресс-папье, квитанция на дрова из жилконторы. На розовой промокашке сиреневые кляксы и закорючки. Статуэтка горного орла на этажерке возле копилки-свиньи. Трёхпроцентный, пятипроцентный, золотой заём. Поголовная подписка на негашёные облигации. Говорят: Можно выиграть сто тысяч рублей! У заводного мишки сломалась пружинка и потерялся ключик. Честным людям денег не нужно. Деньги дарят казне!





#### Набор шоколадных конфет в РОСКОНДЕ.

На картонной коробке Иван-царевич на сером волке везёт Василису по чёрному лесу. Фигурные плашки, шайбочки и финтифлюшки в бумажных розетках. Казённая фуражка с синим околышком. Китель особиста. Ледяные сосульки срываются с крыш, стекляшки хрустят под ногами, со звоном раскатываются по панели. Джутьбарс — немецкая овчарка, но н а ш а собака! Липкое момпасье разного цвета грохочет в кармане.



#### Под мышкой ртутный термометр.

Кефир в три часа ночи для упокойничков в карантинной палате. Карболка. Горячий бред — БЕРЕ ЗИМНЯЯ Мичурина — черенки, пестики и тычинки. Прививки от кори и оспы. Перекрёстное опыление. Вот-вот зацветут дифтерит, скарлатина и коклюш! Штабеля дров во дворе станут ниже. Среди полениц играют в прятки и в войну. Хулиганы духарятся и ныкаются от мильтонов. В фонтанке проржавленной проволочной сеткой ловят "кабзду". Плавают прогулочные лодки. Удильщики на мосту. Толкуются советчики и наблюдатели. В дно вбиты сваи. Единичные моторки и плоскодонки верёвками и цепями приколоты к кольцам или к решётке набережной. Проезжая часть на ремонте. Наносы и кучи песка, на разбитой выщербленной брусчатке. Трофейный Харлей с жоляской движется с пируэтками. Свернул в переулок и подпрыгивает на булыжниках. Принято матыгаться. Пацаны от скуки пускают "блинки".



На окнах фикусы.

Герань, пальмы в кадках. Занавески бриз-бриз, рюшеле и маркизы. Орхидеи с пельменями! Галоши с красной подкладкой - сдавать в гардероб! Врач ЛОР с портфелем и тростью. В киношке, перед сеансом, эстрадный концерт. Мороженое течёт. Фотографировать на мостах и башнях запрещено! Якорей не бросать! Вставные зубы, челюсти, руки, ноги, корсет, протезы, куклы. Надпись на железной табличке: Гофре, пляссе. Врач-венеролог. Плакат - Поцелуй Чаниты. Голубая мечта: Перламутровый театральный бинокль или ручная черепашка.



В Неве водилась коляска.

Сады и парки для гуляний. Лодочные станции, качели, эскимо, сломер. У всех мужчин - складные ножи. Закуска - солёный огурец и селедочка. Вредный элемент. Иду по улице за поливалкой. Сдача крови, членов, костей. В зоопарке белый медведь, пирожки с сагой, карусель и детёныш слонихи. Кривые зеркала в "комнате смеха". Гражданской авиации не было! Парашютная вышка у "Великана". Спасательный круг для трёх человек. Гражданка в ботах с кошёлкой. Стрельбище. Утиль-сырьё. Тир.





### Суп горох.

Золотые коронки штабиста. Наследие тёмного прошлого. Отборный мат. Картофель в "мундире". Большой начальник! Стрижка под горшок, под полубоко, ёжик, бобрик, под ноль. Руководители в бурках, секешах и галифе. В палахах. Юннаты, тимуровцы, корчагинцы, станановцы едут в столицу на слёт. ВЭДЭЭНХА. Хурма похожа на яблоко и помидор. Бьет твленей, котиков и китов. Гарпунная пушка на носу китобойного судна. В гастрономе шпроты и пирамиды крабов. Икра красного цвета. Ложка рыбьего жира перед обедом. Крым. Лим-попо. Жемчужина черноморского побережья. Всенародная здравница. Кузница здоровья, юг. Учёные открыли палочку Коха. ЗИС-III развивает скорость 115 км. в час. Белые фарфоровые слоники разного роста. Запечённая утка с мочёной брусликой. Деревянная форма для пасхи, кутья на поминках. ФЗУ. Ремеслуха. Стерва. Стерлядь не ругательство, а рыба! Банка рыжего гуталина. Одна сушка - копейка, или коробка спичек. Хризантемы - цветы на японском халате! У крестьян паспортов нет! Махровая матерщина. Паханы "держат мазу". Хозяйки к празднику моют окна. С войны не вернулся никто!



### Развелись дармоеды.

Сидят на шее. Сазана ловят в бассейна сачком. Судак колотушкой по голове. Оглушат, и она засыпает! Свиные ножки на холодец. Бездомные, погорельцы, сироты. Бродяжник с аккордеоном поёт во дворе куплеты. Монетки, завёрнутые в бумажку, кидают из окон на двор. Мальчуган-беспризорник милостыню собирает в шапку. Странствуют "божие люди", оракуль-крикуны, ослепшие пророки, скрипачи и цыгане. Старьёвщики. Стекольщики с ящиками через плечо. Вытрезвителей не было. Пьяные валялись на улицах, вечером разъезжали машины милиции и подбирали всех, кто лежал. 12 часов ночи. Шум Красной площади. Гимн со словами. Вой часов.





Утро, мясные бульонные кубики.

Проводка с фаянсовым штепселем. Ходики с киской, у киски бегают глазки, на пепочке две гирьки. На обрывке обоев клоповник. Импортные полусапожки "румынки". Пленные немцы в мышиного цвета мундирах, с алюминиевыми пуговицами и орлами. Продадут ребятинкам за "брудер" - рукодельные зажигалки, копилки, кораблики, домики, портсигары. Ночью: блатные проиграли и кокнули своего. СМЕРШ. Марш Черномора. Общее поветрие - поиски кладов и поделки из отходов. Общие плиты на кухнях. Грампластинки "РЕКОРД". Слова со значением. Подарок "со смыслом". Шпана шустрит, легавые рыщут, гопники духарятся. ОСОБЫЙ АХИМ Кореш в бушлате, вокруг него вьются салаги. Голубятники устроили потайные притоны на крышах. Свиютят. Гонят стаю турманов и сизарей над домами. Внизу инвалид на тележке с колёсиками, с папирсой в зубах. Москвич М-12, две Победы подряд, фольксваген с шишкой на капоте. Родители отвозят в ЗИМЕ на дачу богатую девочку. Вопль: Точить ножи-ножницы-мясорубки! Собралась колда. Первому, кто войдет в подворотню, сразу дадут подзубатник!





"Крутить здесь!" - звонок-вертушка.

Ивановым - раз, Судниковичам - два, Доморадским - три, Шлоеву четыре раза, Красилову - стучать! На форменной школьной фуражке с костяным козырьком - буква "Ш". Сторожиха из первой квартиры шуршит за дверью, зыркает в замочную скважину и слушает всех. Пахнет "Шипром". Ибрагим натирает ремень зелёной полировочной пастой, правит лезвие бритвы. "ШИЖ". Сивуха. Свежий дух от рассольника. Арабский испорченный мяч. Визги, гогот и ржанье. Польшнул и сгорел целлулоидный шарик от пинг-понга. Едкий вонючий дым. Чёрный подвальный фонарик - "жучок" или жужжалка с "динамой". Появились китайские с круглыми батарейками, сигнальной кнопкой и рефлекторным отражателем. Деревенские наезжают в город, становятся курсантами или рабочими. Городские более развиты, но важничают. Везде - шпионы. Ром-баба, Равель, сухофрукт! Коричневая мастыка разводится кипятком! Борьба с вредительством. Хлорка. ЧК. Медный купорос. Нафталин от моли. Павлик Морозов. Бриолин. Пистолет "ТТ". Танец с саблями в исполнении государственного симфонического оркестра.





Вокзальный цинковый бак с краником "гор.", "хол.". Краник соединён с кружкой цепочкой. Дождю интеллигенцию разбавляют коренным населением. Прусаки. Титан дюралевый с кипятком. Проститутки у "ТЭЖ". Выпиловка лобзиком. Явка с повинной, опер с повесткой. Снабженец с химическим карандашом за ухом. Дворовые драки. За 8-й, 9-й, 10-й классы нужно доплачивать. Гирлянды колбас и сосисок. Гроздь перепелов и рябчиков в перьях. Рейские птички! Сводка погоды - радио КОМИНТЕРНА. Танк "КВ". Мясные туши на крыжах. Девочки и мальчики в раздельных классах. "Рыба живая".



#### Челюскинцы на льдине.

Юность Максима. Свинарка и пастух. Возвращение Максима. Девушка без адреса. Пулемёт "максим". Весёлые ребята! Ледокол Седов, панинцы. Ледовое побоище. Психическая атака белых. Северный полюс-5. Кольцо 25 трамвая - ЦКЖО. Шкет в жёлтой бобочке и тибетейке свалился с "колбасы" на рельсы. Коленки в зелёнке. Пол-литра и маленькие в любом киоске. Запечатано горлышко сургуном, красным и белым. Иногородние выбиваются в люди. Коллекция сушёных сабочек, стрекоз, навозников, божьих коровок. Укрепляются кадры. Махорка. Норд, Рот-фронт, Казбек, Беломор-канал, Красная звезда. Авангард. Раб.класс. Добровольное общ.-во членов ОСВОДА. Дрослойка соц.служащих и алиментщиков. Футбольный матч на Кировском. Счёт ничейный. Скулы сжаты. Рот на замке. Наша победа - военная тайна! В микроскоп видно микробов. Храп с перегаром. Колотун. Огуречный рассол для опохмелки. С земли виден космос.



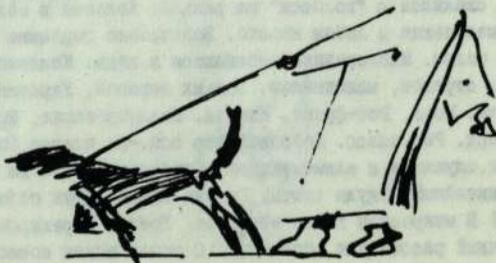


Тот, кто соберёт 1000 копеек, тому в магазине подарят патефон! Туфли "бореточки". Лёгкие туфли из парусины. Сандалеты, штиблеты. Банные чемоданчики. "Бомбовозы" и стукачи. - Дамочка, я за вами!.. - Гражданин, отстаньте! В продаже трусы с китайским начёсом. Кровать с никелированными шарами пружинная, полутора-двухспальная, на роликах. Трусы синие, сатиновые "семейные". Продукты все натуральные: комоды; трельяжи, сундуки, самокат на подшипниках, Чернобурка через плечо, коньки "снегурки" верёвкой и чуркой примотаны к валенку. Фильдеперо. Крепжоржет. Крепсатин. Маркизет. Крепдешин. Шёлк. Лиса. Вельвет. Кенгуру - австралийский город.



#### Солнечная страна Албания.

Дарвин придумал теорию о том, что человек произошёл от макаки. Куртка "москвичка". Санки финские. Плед шотландский. Турецкая ат-томанка. Гольфы-штаны с пуговицей под коленом. Планшетки вместо портфелей. Кислородные подушки в аптеке. Домработница с профессорской собакой на прогулке. Квартирантка-приживалка. Слепые в чёрных круглых очках. Кошек били камнями. Дворники вызывали жеводёров. Телеграммы "молния". Сургучные печати и пломбы. Товары с квитком. Пиво "Золотой ярлык". Ежлетень - "все на выборы!". "Кровь за кровь". "Ушла на базу". Душились одеколоном Шипр, Красная Москва, Эллада, Кармен.



Наступило новое время.

Изобрели телевизор КВН. Шутка: Два болта с серой от спичек или ключи на верёвке с зарядом нужно стукнуть об стену! Бумажные бомбы с водой. Шарики из жёваной промокашки и духовые трубки. Чернильницы-непроливайки. В охотничьем магазине - кацсюли. Линзы с дистиллированной водой. В городе жили в основном ленинградцы. На перекрёстках регулировщики. Светофоров было мало! Всех принимали в пионеры.



Строились по росту.

Акробатический этюд - "пирамида", под барабан. Распространены дворовые игры: фантики, чика. Шпингалеты отбивают от отенки битку и замеряют пальцами расстояние до стопки монет. Изводятся в маляки - кто большее количество раз поддаст ногой скрученную тряпку. Пёррышки, ножички, бутылочка. Въезжает машина - санэпидстанции. Малявки играли в лапту, дочка-матери, казаки-разбойники, Штандр-стоп, али-бабу, прятки, пятнашки. Мельтешат младенцы в песке. Стучат мяч, крутится скакалка, чиркает по "классикам" черепок. Летом по улицам разгуливали мужики в сетчатых майках и в шляпах. Народ засиwal козла.



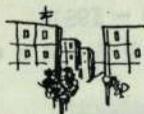


На велосипеды повесили номера. Кормовых и прогулочных голубей в городе не было. Снегири залетали. Собаки только служебные и большие. По квартирам метались агентши госстраха. Из бочек на улице пили квас. Дома, — из банки прикрытой марличкой, пили "гриб". На празднике 1 мая у оград, возле стен и на всех перекрёстках торгуют старушки, цыгане и мужички: раскидаи, вертушки, свистульки, птички, уди-уди, хлопунки, ленты, флажки, шарики, петушки, "тёшин язык", букеты из пёрышек, деревянные акробатики, фонарики, гирлянды, китайские веера. Румяные нахимовцы в кледах. Семечки в фунтиках. Фиалки, ландыши и подснежники. После гулянья садились к столу. Ваники липы ставили в воду. Раковые шейки и барбарис лежали в вазах горой. Поднимали тосты. "За мир!" — стоя. Закуску — сидя. "Кто смел, тот съел!" Пир. Молокососы лакали приторный лимонад.



Запущен на орбиту искусственный спутник земли. Последние известия начинались с его позывного сигнала: пи-пи. Зелёный индикатор настройки — светящийся "волчий глаз". Радиолы: Сакта, Люкс, Фестиваль. Чуваки и чувихи пасутся стадом. Белые чулки. Изумляют взор иностранные штотки. На ногах у женщин капрон — паутинка и сетка, беж-коричневый-чёрный, со швом и без шва. Причёски: с начёсом, я у мамы дурочка, конский хвост, приходи ко мне в пещеру. Волосы зелёные, фиолетовые, белые после перекиси. Разбитные юбки. Исчезли боты из СЕЛПО. Есть марафет! Девки можно кадрить! Фраера. Требуются строительные рабочие всех специальностей. Копы с носами за 9 рублей. Плащ "болонья". Растёт поголовье скота. Галстуки с пальмами и попугаями. Стиляги на микропорках в "ду-ду", с коком на голове. Увеличился надой молока... вал на душу населения. Шпильки и лодочки. Пижоны в цветастых ковбойках — пятна, полоски и ромбы. Фланерили на стритах и бродах. Шатались. Вечерами топтались на плясе. Жались в кустах и лизались. Ходили в гости друг к другу крутить пласты. В центре — фонтаны и танцы. На аллеях гипсовые фигуры, доходяги и алкаши. Урожай в закромах родины! Работники сфер рапортуют... Сигареты Нева, Аврора, Памир, Ароматные, Астра, Ментоловые. Поднята целина! Очередь в мавзолей. Бал. Праздничное торжественное собрание.





Буги-вуги, рок на костях.

Драма Афиногенова. Депутат в АИУПНУКТЕ. Тройка - с золотым обрешом, Друг - с золотой полосой. Белый болгарский Фильтр. Джебел. Коробки гаванских сигар. Сухач - кислое пойло. Бодяга. Кукуруза - царица полей! ... Один талантливый московский поэт. Считаются неплохими "Солнышко" и "Шипка". Самиздат. Библиотека. Курилки. Фолкнер. Фрейд. Кафка. Камю. Кофе. Кухня. Сборник научной фантастики. Эпидемия полиомиелита. Хрущ. Хлебоуборочная страда. Показательный процесс в Ленинграде. Серый хлеб на прилавках. Новые микрорайоны. Повсюду похушки и сторожа. Лесоповал. 20 мегатонн. 50 мегатонн. 100 мегатонн. Во всех окнах горит "голубой огонёк". Сушёная тёлка к пиву - элементарная физика. Атомщики и ядерщики. Скука! Шуров и Рыкунин, потом Новицкий смешили народ. Миронова и Менакер. Рудаков и Нечаев. Тарапуныка и Штепсель. Братва! Впереди - бесконечная клежка. Синий фитиль под глазом. ГОСТ. Бытовая тоска. Коленкор. Летний сад закрыт на просушку. Сумерки.



Уминая финик, верчу хулахуп.

дек. 1979 г.

# СУМЕРКИ 1-12

(1988 - 1991)

## С о д е р ж а н и е

### Поэзия

Айги Геннадий	Стихотворения	№ 9
Байтов Николай	Стихотворения	№ 2
Бараш Александр	Стихотворения	№ 2
Белков Вячеслав	Краковятский полонез и другое из шестидесятых - восьмидесятых	№ 5
Беркович Борис	Из стихотворений 1978 - 1983	№ 6
Бобрцов Валентин	1958	№ 7
Бородкин Олег	Стихотворения	№ 8
Брода Ярослав	Стихотворения в пер. К. Подраби- нека	№ 8
Бродский Иосиф	Стихи о зимней кампании 80 года	№ 5
Волчек Дмитрий	Три стихотворения	№ 5
Галецкий Юрий	Стихотворения	№ 3
	- " -	№ 7
Генделев Михаил	"Когда я поеду в Не-знаю-куда.."	№ 3
	Из двух книг	№ 7
Григорьев Дмитрий	Голое поле	№ 2
	Стихотворения	№ 7
Григорьев Олег	Стихотворения	№ 5
Гурьянов Алексей	Посвящается N.	№ 1
Душин Владимир	Стихотворения	№ 5
Благина Елена	Стихотворения	№ 8
Завьялов Сергей	Набросок автобиографии (стихи 1988 года)	№ 6
Иконников-Галицкий Анджэй	Стихотворения	№ 4
Кенжеев Бахыт	Стихотворения 1989 года	№ 11
Король Михаил	Из цикла "Молодые люди"	№ 9
Крыжановский Андрей	Стихотворения	№ 10
Лимерики в пер. Евг. Фельдмана		№ 8
Мартынова Ольга	"...мир дрожит под коркой словаря"	№ 11

Матиевский Владимир	Стихотворения из книги "На круги своя"	№ 4	
	- " -	№ 6	
Мирзаев Арсен	Внутритворение реальности	№ II	
Миркина Зинаида	Осеннее дерево	№ IO	
Новаковский Александр	Стихотворения	№ I	
	Стихи о словах	№ 6	
Осипов Олег	Осенняя графика	№ 9	
Памяти Арсения Тарковского		№ 5	
Подрабинак Кирилл	Ярославу Броду	№ 8	
Ратушинская Ирина	Стихотворения	№ 2	
Рожнятовский Сева	Цикады водолея	№ I2	
Савво Игорь	Стихотворения	№ I	
Слепакова Нонна	Монумент (последняя петербург- ская поэма)	№ 4	
Свободный университет (поэтический семинар):			
Валерий Артамонов, Сергей Смирнов, Михаил Блазер,			
Арсен Мирзаев, Андрей Головин, Руслан Миронов,			
Глеб Денисов, Юрий Дятлов			№ 6
Уфлянд Владимир	Баллада и плач об окоченелом трупe	№ I2	
Чарский Юрочка	Девять стихотворений	№ 6	
Шеманин Павел	"Всё, что может случиться..."	№ I2	
Шешолн Евгений	Стихотворения	№ IO	
Юрьев Олег	Старые стихи	№ 2	
	Стихи и Хоры	№ II	
Я.Чернышева	Стихотворения	№ IO	
Проза			
Байтов Николай	Знаки несогласия (рассказы)	№ 8	
Беркович Борис	Три рассказа на прощание	№ I2	
Богатырёв Михаил	Разрозненное (отдельные мысли и фантазии)	№ 4	

Вахтин Борис	Три повести с тремя эпилогами (а может быть, одна поэма)	
	Лётчик Тютчев, испытатель	№ I
	Ванька Каин	№ 2
	Абакасов - удивлённые глаза	№ 3
	Анабиоз	№ 4
	Шесть писем (роман)	№ 6
	Дневник без имён и чисел	№ 9, II
	Алхимия	№ II
Галецкий - мл. Юрий	Мой папа	№ 6
Губин Владимир	Башня /глава из романа "Илларион и Карлик"/	№ 12
Ильянен Александр	Абориген и Прекрасная туалетчица (выбранные места из либретто)	№ II
Ионова Виктория	Во имя будущего (повесть)	№ 6
Кольва Григорий	Колпаков (рассказ)	№ 2
Крячко Борис	Морской пейзаж с одинокой фигурой	№ 2
Ланкин Алексей	Мясо. Конец его пути (рассказы)	№ 10
Левкин Андрей	Рассказы из цикла "8 - 88"	№ 5
Маслов Алексей	Из цикла "Импрессионизм"	№ 8
Межбровский Леонид	Четыре рассказа о превратностях превращений	№ 3
Недосекин Алексей	Здравствуй, мама (повесть)	№ 7
Святский Г.	Из жизни Свиридова	№ I
Седов Сергей	Про Лёшу, который умел превра- щаться во всё-всё-всё	№ 5
	Про короля	№ 10
	Сказки о любви	№ 10
Селезнёв Аркадий	Записки "пассажира"	№ 8
Халиф Лев	Пузеня	№ II
Хасин Григорий	Два рассказа	№ 4
Четверухин Серафим	"Дмитрий-царевич" и другие рас- сказы	№ 3
	В тихой пристани (рассказы)	№ 7
Шубинский Валерий	Адресат (рассказ)	№ 10
Юрьев Олег	Гонобобль и прочие, или в пояс- ках утраченного времени	№ 9

Гласные и Согласные

Аренс Лидия	Воспоминания	№ 6, 9
Байтов Николай	О Владимире Набокове	№ 3
Безродный Михаил	Об одном приёме художественного имяупотребления	№ 7
Бобрцов Валентин	Письмо в редакцию	№ 5
	Страсть и строгость (о Вл. Матиевском)	№ 6
Бродский Иосиф	Вступительная речь	№ 5
	В полутора комнатах	№ 8
Брондз Ирина	Вослед лучу	№ 5
	Ленинград - Варшава - - Петербург - Ленинград	№ 8
Горлов Сергей	Из вахтенного журнала	№ 7
Драпкин Вадим	Зеркало "Зеркала"	№ 5
Ильина Ирина	Три текста об Анатолии Васильеве	№ 3
Карасёв Владимир	Библиотека для чтения?	№ 1
Констриктор Борис	Открытие Лётербурга	№ 9
Левкин Андрей	Достоевский как русская народная сказка	№ 12
о.Мень Александр	Беседа о Церкви	№ 4
	Три проповеди	№ 10
	Письмо Ю.Б.	№ 10
Миркина Зинаида	〈После Гроссмана〉	№ 5
Набоков Владимир	Другие берега (дополнения)	№ 2
Никонов Павел	Никто не хотел сохранять	№ 1
Патракова Лариса	〈Собор Рождества Богородицы〉	№ 11
	Воплощение Акафиста в архитек- туре Ферапонтова монастыря	№ 11
Рожнятовский Сева	〈Евгений Шешолин〉	№ 10
Рудяева Ирина,	"Сталкер" /несанкционированное	
Скидан Александр	введение в поэтику/	№ 12
Святец Геннадий	Человек и его тень	№ 2
С Днём рождения, Джон		№ 2
Симонов Владимир	Часть и целое	№ 9
Синочкин Дмитрий	"Очень трудно писать о поэтах.."	№ 1
	Сторож звезды (о трилогии Б.Вахтина)	№ 4
	Набросок контура эскиза	№ 5

Синочкин Юрий	Воспоминания	№ 2
Солженицын - Шаламов	(к истории взаимоотношений)	№ 4
Старцев Александр	"Ты помнишь, как всё было 10 лет назад?"	№ 1
Талалай Михаил	Время грома, или наши в Швеции	№ 5
	Петербург - Варшава - Барановичи	№ 8
	К Белому озеру	№ 11
Через монтажный стык	(Тарковский - Сокуров)	№ 7

#### Встречи в "Сумерках"

Совет по Экологии культуры		№ 1
Василий Горюнов	В поисках стиля (беседа о модерне)	№ 7
Об отце Александре Мене		№ 10
Литературная группа "Горожане"		№ 11

#### Этажерка (публикации)

Апология эмиграции		
Из переписки Г.П.Струве и А.И.Солженицына		
"...осколком Вильгельмова сердца" /письмо В.В.Розанова П.Б.Струве/		№ 12
Аренс Лев	Воспоминания о Гумилёве	№ 11
Арцыбашев Михаил	Смерть Башкина	№ 7
Башкин Василий	Свой брат (рассказ)	№ 7
Бердяев Николай	О путях политики	№ 6
Бодлер Шарль	Путешествие (пер.Вас.Комаровского)	№ 4
о.Булгаков Сергей	Церковь и Культура	№ 4
Вениамин, митрополит Петроградский		№ 10
"...Говоря друг другу молчанием..." (к картине М.В.Нестерова "Философы")		№ 4
Гордон Лев	Три стихотворения	№ 11
Иванов Георгий	<Леонид Каннегиссер>	№ 8
Из архива Евгения Иванова		№ 7
"Как страдание радостью может стать" (письма Е.П.Иванова Н.Г.Чулковой)		№ 6

Каннегиссер Леонид	Стихотворения	№ 8
Козырева Марьяна	М.М.Тумповская. Л.С.Гордон	№ II
Комаровский Василий	"На площадях одно лишь слово - "Даки"	№ 3
"Куда мы идём?" (сб. статей и ответов, 1910)		№ 5
Кьеркегор Серен	Афоризмы. Фрагменты дневников	№ 5
Мочалова Ольга	Маргарита	№ II
На берегу Божьей реки	Надежда Павлович. Оптина (поэма) Константин Леонтьев. Некстат и кстат (письмо А.Фету)	№ 9
	И.М.Концевич Константин Леонтьев Людмила Ильинина. Дух дышит, где хочет.	
	Вячеслав Кондратович: По разные стороны баррикад (К.Леонтьев - - Н.Фёдоров)	№ 9
Непряхин М.	Яков Коростелёв /рассказ/ Моя жизнь. Мои современники (фрагменты книги)	№ 12
Оболенский Владимир		№ 4
Пушкин Николай	Памяти графа Василия Комаровс- кого	№ 4
Сказка про Ваську Немецаева - питерского вора		№ II
Сологуб Фёдор	Стансы Польше	№ 8
Тумповская Маргарита	Дон Хуан (мистерия)	№ 10
о.Флоренский Павел	Итоги	№ 2
Хармс Даниил	Старуха	№ I

"Не город Рим живёт среди веков..."

"Наша Коломна..." (Александр Бенуа - Осип Манделштам)	№ I
"Прогулка по Мойке" (Василий Розанов - Юлия Лагускер)	№ 2
"...и приде скорый на помощь святой Никола, по морю хождаше яко по суху" (Никольский Морской Богоявленский собор)	№ 3
"Несчастно как-то в Петербурге..." (к 50-летию Леонида Аронсона)	№ 4

"Стиль есть то, куда поцеловал Бог вещь" (Василий Розанов)	№ 5
"У Хроноса в руках песочные часы" (Вера Арнс)	№ 6
"Виды места любви и отчаяния" (Сергей Горлов)	№ 7
"А место человека во Вселенной" (Венок на могилу неизвестного солдата Российской императорской армии)	№ 8
"Архитектурная любовь" (Геннадий Алексеев)	№ 9
"Как хороши утра в Петербурге" (А.С.Суворин)	№ 10
"Дорога вдоль берега" (Дмитрий Григорьев)	№ 11
"Финикийский хулахуп" (Вячеслав Белков)	№ 12

#### BOOKSTAND

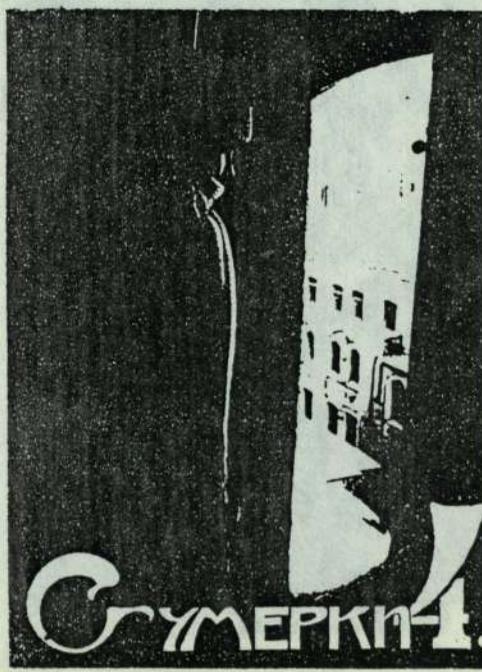
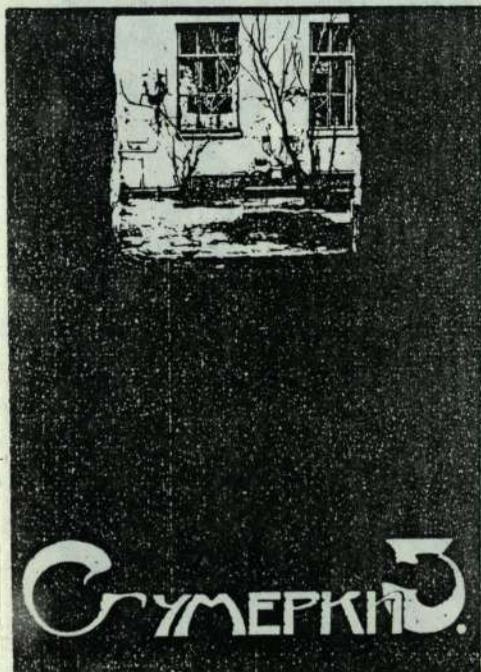
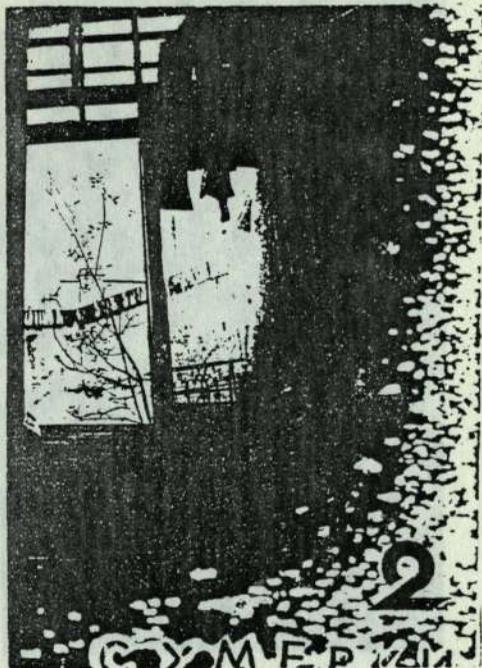
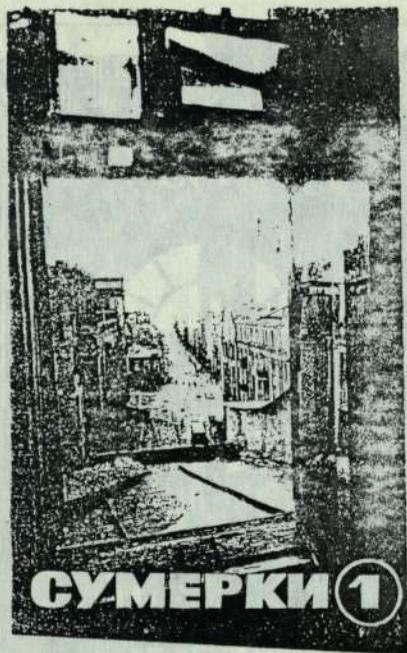
Алешковский Юз	Рука	№ 9
Белинков Аркадий	Сдача и гибель советского интеллигента. Юрий Олеша	№ 8
Горенштейн Фридрих	Псалом	№ 6
Марамзин Владимир	Смешнее чем прежде	№ 11
Очеретянский Александр	Из восьмидесятых	№ 12
Померанцев Игорь	Моя родина одиночество	№ 10
Хазанов Борис	Час короля	№ 7

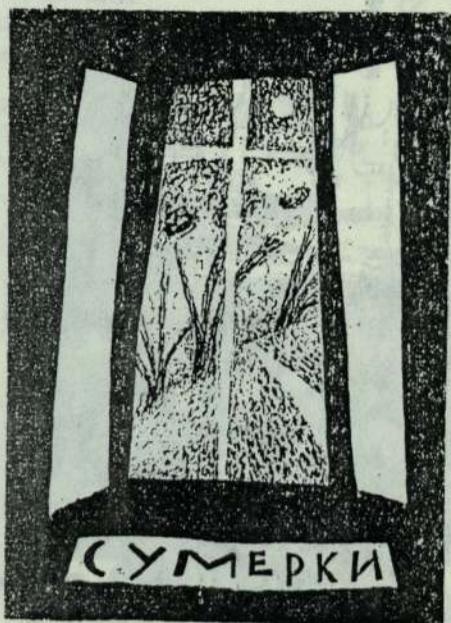
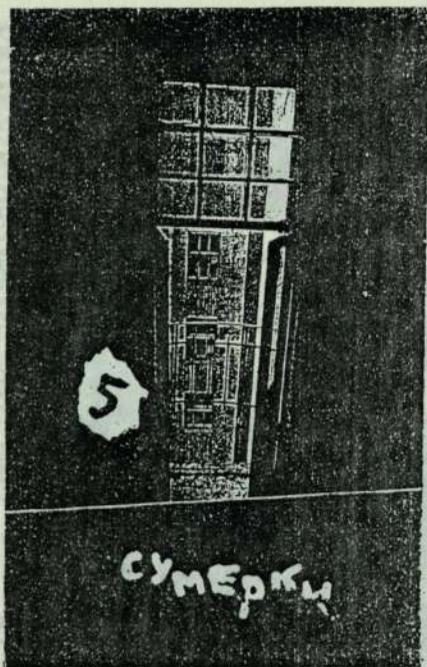
#### Приложения

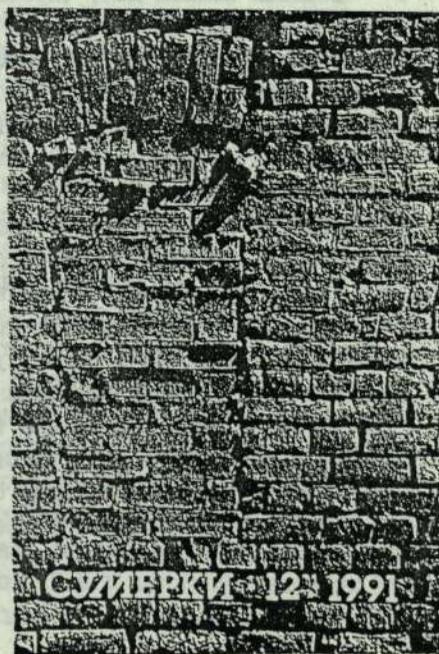
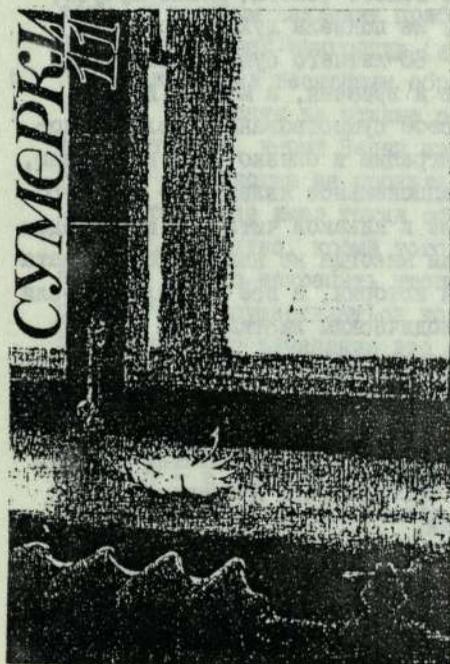
- К 70-летию А.И.Солженицына 1988  
 Григорьев Дмитрий. Неторопливый гребец 1990  
 Теория и практика игры в аду (к 80 летию русского авангарда) 1990

#### Оформление

- Павел Никонов № 1 - 4  
 Владимир Яшке № 5  
 Наталья Доброскок № 6  
 Сергей Горлов № 7  
 Денис Киселёв № 8  
 Елена Иванова, Александр Клопов № 9, 10, 12. Приложение 1990  
 Владимир Барсуков № 11







# АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

От редакции

Предполагаем первому материалу новой рубрики — её название заимствовано нами из книги Р.Б.Гуля<sup>х)</sup> — фрагменты переписки Глеба Петровича Струве и Александра Исаевича Солженицина.

23.4.77

Дорогой Глеб Петрович!

...

В одном важном хочу спросить Вашего совета. Давно мучусь, почему эмиграция (в основном I-я) не подвела духовного итога своего уникального полувекового — 60-летнего существования. Не хватило человеческих сил, средств и времени, а может, и мысль не пришла. Но эмиграция кончает своё существование (молодые поколения ушли от русского, 3-ю эмиграцию и близко сюда не ставлю, это совсем другое социальное и национальное явление) — а такого итога нет. И никакой исследователь и никакой читатель из молодого русского поколения в метрополии никогда не найдёт концентрата этой важной и духовно-напряжённой истории, а всё расплывлено, если не совсем потеряно по редким периодическим листкам, да унесено со всей страстностью в памяти умерших. Между тем эта история огромной массы русского образованного общества в те годы, когда на Руси самое большое можно было только сокровенно чувствовать, но даже не высказать устно — неповторимый кусок в развитии русской общественной мысли. И я хотел бы организовать публикацию такой серии — Летопись Русской Эмиграции.

---

х) Роман Гуль. Я унёс Россию (апология эмиграции) т.т. I-3  
В ближайших номерах — отрывки из т.3 "Россия в Америке".

1 мая 1977 г.

Дорогой и глубокоуважаемый  
Александр Исаевич!

...  
Вы мучаетесь вопросом, почему русская эмиграция (конечно, в основном тут должна идти речь о т.н. "первой") "не подвела духовного итога своего уникального существования". В основном Ваш собственный тентативный (простите мне этот галлицизм, но обычный перевод этого слова о французского или английского - "пробный" - меня в данном случае не удовлетворяет, и я, как мой отец, отнюдь не безоговорочный противник "галлицизмов") ответ совершенно правилен: "не хватило человеческих сил, средств и времени, а может, и мысль не пришла". Я бы только к этому добавил, что последнее ("мысль не пришла") относится в первую голову к довоенному времени: 1) подведение итогов казалось ещё преждевременным, а 2) - и это важнее - тогда вся эмиграция ещё жила мыслью о предстоящем - и в глазах многих, может быть скором возвращении в Россию. А вот когда прошли шесть или семь военных лет, вступили в силу - да ещё как, во всю! - и другие факторы, к которым надлежит прибавить ещё всё уменьшавшийся интерес Запада к русской эмиграции (и не только интерес, но и сочувствие). Этот фактор был теснейшим образом связан и с фактором средств. "Новые" эмигранты не отдадут себе достаточно отчёта в том, что того интереса, к-рый Запад проявил к ним (да и он сейчас идёт на убыль), он никогда не проявлял к первой эмиграции. Притом и о Советском Союзе имел тогда совершенно ложное представление.

Вы, вероятно, кроме того знаете, что некоторые попытки подвести и как-то закрепить итоги всё же делались; что была задумана и начала осуществляться коллективная "Золотая книга русской эмиграции", но начинание это наткнулось и на недостаток средств, и на неизбежные в таких случаях дразги и расколы.

Но, конечно, более существенно то, что сама деятельность русской эмиграции в разных её проявлениях и её вклад в русскую культуру - а попутно и в мировую - достаточно прочно и вещественно закреплены в её газетах, журналах, сборниках, книгах, преподавательской деятельности учёных во всех странах мира и т.п. Дело скорей - в оформлении итогов. И я всецело приветствую Вашу мысль о летописи Русской эмиграции.

---

Печатается по автографам, хранящимся в архиве Гуверовского ин-та (фонд Г.П.Струве вех I37).

"...осколком Вильгельмова сердца"

(письмо В.В.Розанова П.Б.Струве)

х х х

"Последние дни Розанова" - особая тема философических, психологических и литературоведческих исследований. Материал для этих исследований - письма Василия Васильевича, которые он неустанно писал своим друзьям и бывшим недругам (а таковых было большинство) в Петроград из Сергиева Посада. Время писания писем - зима 1918 г. - январь 1919 г. (Уехала из столицы семья Розановых осенью 1917 г.; умер Вас. Вас. Розанов 5.II.1919 г.).

Письма эти - дневник, исповедь умирающего Розанова, но и - одновременно! - литературные произведения в духе "Опавших листьев". Собранные в единый том, они и будут "последним их ("листьев") коробом". Этому будущему собранию принадлежит и публикуемое нами письмо Петру Бернгардовичу Струве (1870 - 1944), написанное зимой (февраль?) 1918. Розанову 62 года; он ещё надеется на работу, ждёт её - с осени 1918 г. никаких надежд уже не останется, и он будет диктовать дочери прощальные письма.<sup>х)</sup>

П.Б.Струве был одним из уважаемых и авторитетных членов совета Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества; с учредителями Общества - Мережковскими - его связывала многолетняя идейная близость, но в январе 1914 г., в дни кампании по исключению Розанова из РФО, ситуация сложилась неожиданная. З.Н.Гиппиус, Д.С.Мережковский и Д.В.Философов, инициаторы кампании, обвинили Розанова в "двурушничестве", в безнравственной позиции по отношению к делу Бейлиса и к вопросу об амнистии политическим эмигрантам. Перед заседанием, где состоялось исключение Розанова, они опубликовали в газете "Речь" резолюцию членов Совета, в которой было сказано, что все его члены единогласно требуют исключения. Тут и случилось непредвиденное: П.Б.Струве направил секретарю РФО официальный протест, в котором говорилось, что резолюцию он не подписывал.

---

х) См. публикацию последних писем Розанова в журнале "Литературная учёба" № I, 1990 год.

"Заявление", приложенное к протесту, он потребовал огласить на заседании "по вопросу об отношении Общества к деятельности В.В.Розанова".<sup>х)</sup> (Сам он прийти на заседание отказался и — более того — вышел из РФО и больше не принимал участия в его деятельности.) Всё это было полной неожиданностью для Мережковских, да, пожалуй, и для самого Розанова, т.к. Струве неоднократно полемизировал с Розановым в печати.

Публикуемое нами письмо не случайно начинается с оправданий перед издателем либерального журнала "Русская мысль" — за сотрудничество в консервативных "Русском слове" и "Новом времени"; знал Розанов, что личная позиция П.Б.Струве не изменилась, но теперь, во время испытаний, они оказались в едином лагере гонимых, чуждых новому строю.<sup>хх)</sup> Поэтому и пишет он П.Б. просто как человек старший, больше испытавший лишений, и этот опыт даёт ему право призывать Струве к отказу от либеральных верований в Россию и, внимательно вглядываясь в события, понять, что прав был "ужасный хохол" Гоголь, увидевший русскую душу в её "преисподнем содержании". Но, поняв всё это, — ещё больше этот "несчастный народ" полюбить. В письме звучат пророческие слова о том, что с "этой вошью преисподней" и останется он "сгнить", "рыдая об этой окаянной вшивости".

Струве же суждено будет понести эту любовь к "несчастному народу" на Запад...

Людмила Ильюнина

---

х) Ср. письмо П.Б.Струве в редакцию газеты "Речь" 27 (?) февраля 1914 г.: "Я считаю Розанова морально неизменяемым — поэтому в его деле, на мой взгляд, отсутствует основное субъективное условие разумного суда над человеком." И далее: "Религиозно — философское общество не может притязать на функцию суда — в данном случае отсутствует и основное объективное условие разумного суда".

хх) Мнение Глеба Петровича Струве: "Я почти уверен, что после того у П.Б.Струве не было ни переписки, ни встреч с В.В.Розановым, и отсюда начало письма В.В." (Архив Гуверовского института, фонд Г.П.Струве, вох I52).

Пётр Бернгардович, голубчик - перестаньте на меня сердиться: сотрудничество в "Рус. Слове" и в "Нов. Вр." - просто - горе задавило: больная с 1911 уже очень тяжело жена, и 5 человек детей, да падчерица, все в поре учения и отданные самонадеянно в частные школы, т.е. страшно дорогие. Неужели Вы не можете понять, что "нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенку поёт", неужели не ясно, что, "отрекшись от литературной знаменитости" ("Единая программа"), я не только не был подл, но клянусь и клянусь, что если где я был прав, то в том именно, что поставил большую женщину и маленьких детей выше всей этой черхарды политики и публицистики, которая Вы видите к чему в конце концов привела. Я же и не сомневался никогда, что "без железа народы не управляются" и что "без наказания" жизнь проповедуется только в Евангелии, книге - небесной, а - не земной. Мне было совершенно ясно, что русский человек, русская душа - абсолютно анархична; что она - мечтательна, фантастична, поэтому и практически ни к чёрту не годится. И что если немец (Кайзер) отнесётся к нам великодушно, а он если не к народу русскому, то именно к Николаю II-му отнесётся непременно очень великодушно и благородно, то это и будет "спасением России от подлых качеств русского человека". Вы в Patriotica<sup>x)</sup> и особенно в теме этой книги, в плане этой книги - безумно заблуждаетесь. Вы именно честный, благородный немец (кровь, порода) - безумно преувеличивающий качества русского человека, в котором - кроме святых душ, т.е. 0,00001 ... - кроме частных и личных инстинктов и интересов, жад и влечений, - ничего нет. Я всю жизнь боролся и ненавидел Гоголя: и в 62 года думаю: "ты победил, ужасный хохол". Нет, он увидел русскую душеньку в её "преисподнем содержании". Ну, я как "спасли нас варяги" от Новгородской "свободы", так спасут за-балтийские немцы от вторичной петроградской "свободы". Тайная моя мысль, - а в сущности, 20-летняя мысль, - что только инородцы - латыши, литовцы (благороднейшая народность), финны, балты, евреи - умеют в России служить, умеют Россию любить и каким-то образом уважать, умеют привязываться к России, - опять - непостижимым образом. Верите ли: что как только отец проходит с сыном Русскую историю, толкует с ним "Русскую правду", толкует попа Сильвестра и его "Домострой", то уж знайте, что или немец, или в корне рода

---

x) Patriotica M. 1911.

его лежит упорядоченное немецкое начало. "Русский" — это всегда "мечтатель", т.е. Чичиков, или Ноздрёв, или Собакевич на "обще-европейской подкладке". Гоголь сделал только какой-то неверный план в освещении, неверно поставил "огни"; Гоголь вообще был немножко не умен. Но глаза его были — чудища, и он всё рассмотрел совершенно верно, хотя и пробыл в России всего несколько часов. Он всю нашу "Государств. Думушку" рассмотрел, сказав, что ничего кроме хвастовства и самолюбия, чванства и тщеславия русские никогда и ни в какую политику не внесут. Это вовсе не "империалиты", не "царисты". Это рыцарь мейснем<sup>х)</sup> — а в сущности — крысы, жрущие сыр в родных амбарах. И кроме запаха сырного ничего не ольшашие. Это те же все мужики, которые "нацарапали у помещиков по поместьям" и нарядились в наворованное добро. И "собственности чувства" никакого у нас нет; это — слишком "не по рылу": собственность может зародиться у еврея, у немца, который работал собственность, привязался к ней и теперь её любит. Собственно "чувство собственности" может возникнуть у родового человека, у родовитого человека, в конце концов — у исторического человека; а не у омерзительной ватаги воров, пьяниц и гуляк. Ну их к чёрту. Вы во всём ошибаетесь. Будет 60 лет Вам — и Вы опомнитесь. И напишете "Patriotica" совсем с другой стороны.

И вот, при всём этом — люблю и люблю только один русский народ, исключительно русский народ. Когда я спрашиваю себя: да чем же и каким осколком сердца я его люблю, то умею ответить только: "должно быть — Вильгельмова сердца". Иначе — нельзя объяснить. У меня есть ужасная жалость к этому несчастному народу, к этому уродцу народу, к этому котьке — слепому и глупому. Он не знает, до чего он презретен и жалок со своими "парламентами" и "социализмами", до чего он есть просто последний вор и последний нищий. И вот эта его последняя мизерабельность, этот его "задний двор" истории проливает такую жалость к Лазарю, к Лазарю-хвастунишке и тщеславу, какой у Христа и у целого мира поистине не было к тому Евангельскому великолепному Лазарю, полному сил, вдохновения и красоты. О, тот Лазарь сиял. Горит в раю и горел бы в аде. А на этом, моём ком-патриоте — одни вши. И вшей ... но ну его к чёрту.

Устал. Клянупро и проклинаю. И только эту "вошь преисподнюю" и

---

х) частные лица (нем.)

люблю. И хочу - сгнить, сгнить, сгнить - с нею одной, рыдая об этой его окаянной вшивости.

Ох, устал.

Вот что - дорогой и милый. Холодно. Жутко. Картофелю - ещё I I/2 кадки; но луку - ничего; дров - до марта. Из "Нов.Вр." прислали за ноябрь, а за декабрь и за январь - нет. Живу только долгами; больше нечего - как выпрашивать и выпрашивать. И вот уже выпрошено всё, что возможно, и попрошено у всех, у кого можно. Если бы Вы дали возможность работать мне и в "Рус.Мысли" и в "Русск.Свободе". Если бы рублей на 100 я мог зарабатывать? Я просто - в отчаянии. Дожить бы год, а там кончилась бы эта ухарская революция, всё пришло бы в норму или по крайней мере я уже умер. Хотя как оставлять детей и семью. Отчаяние, отчаяние...

Господи! что делать...

Я потерял и веру в Бога: именно - и потерял от того:

Сколько же я трудился и -

такое унижение и горе  
на конце жизни.

В.Розанов

Сергиев Посад, Московск. губ., Красиковка, Полевая улица, дом Беляева. В.В.Розанову.

Вот что, пожалуйста, поручите Франку ответить мне. Он когда-то хорошо ко мне относился, и я верю - он продолжает любить меня. О, я верю теперь только в жидов и немцев: спасут Россию, спасут и спасут. Сама Россия - испрохвостилась.

Но не буду повторять "скорбей вши и о вшах". Господь с нами, всё-таки, Господь с Россией всё-таки, т.е. даже с революционной и след. окаянной.

Посылаю статью. Если возможно - вышлите и "Русскую Свободу", я получаю одну "Русск.Мысль". Поместите статью "Разговор (это - действительный разговор) с одним немцем" под псевдонимом или без подписи, и вообще - как хотите.

В.Р.

Было бы хорошо, если бы Вы поручили кому-нибудь написать об "Апокалипсисе нашего времени", при сём прилагаемом.

Печатается по копии, хранящейся в архиве Гуверовского института войны, революции, мира (фонд Г.П.Струве, Вох 152).

Редакция благодарит Рона Булатова, сотрудника архива, за содействие в подготовке публикации.

№ 5.

Цѣна 35 коп.

В. Розановъ.

**Апокалипсисъ** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ **нашего времени.**

1. Немножко и радости.
2. Опасная категорія.
3. Огонь Христовъ.
4. Тайны міра.
5. Искушеніе въ пустынѣ.
6. Солнце.
7. Religio.
8. Туфля.



СЕРГІЕВЪ ПОСАДЪ.

Складъ изданія въ книжномъ магазинѣ М. С. Влова.

1918.

Въслѣдствіе повышенія съ февраля 1918 г. платы за пересылку печатныхъ бандеролей по почте, прошу лицъ, имѣющихъ лично у себя подписку доставить одинъ рубль за десять №№ „Апокалипсиса нашего времени“, по адресу: Въ Сергіевъ посадѣ, Московской губ., Красновка Полевая ул., д. свѣц. Вѣллева В. В. Романову.

## Немножко и радости.

„Приндите володѣть и книжити надъ нами.  
Земля-бо наша велика и обильна, а наряда  
въ ней нѣтъ“. *Несторова льтопись.*

„Всю тебя, земля родная,  
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный  
Исходилъ благословляя“.

*Тютчевъ.*

Удивительное сходство съ евреями. Удивительное до буквальности. Историки просмотрѣли, а славянофилы не догадались, что это вовсе не „отреченіе отъ власти“ народа, до такой степени ужъ будто-бы смиреннаго, а—неумѣлость власти, недаровитость къ ней, или, что лучше и даже превосходно до единственности: что это прекрасный даръ жить улицею, околоточкомъ, и—не болѣе, не грѣшнѣе.

„Съ насъ довольно и сплетень, да кумовства“.

Ей-ей, подъ нѣмцами намъ будетъ лучше. Нѣмцы наведутъ у насъ порядокъ,—„какъ въ Ригѣ“. Устроятъ полицію, департаменты. Согласимся, что вѣдь это было у насъ всегда

скверно и глупо. Министерію заведуть. Не будутъ брать взятокъ,—наконецъ-то... и о чемъ мы были, начиная съ Сумарокова, и дошли до самаго Щедрина... „Во наряда—геть“. Ну ихъ къ черту, болвановъ. Да, еще: наконецъ-то, наконецъ гѣмцы научать насъ русскому патріотизму, какъ дѣлали ихъ превосходные Вигель и Даль. Но такихъ было только двое и что-же могли они?

Мы-же овладѣемъ ихъ душою такъ преданно и горячо, какъ душою Вигеля, Даля, Ветенека (Востоковъ) и Гильфердинга. Въдъ ни одинъ русскій *душою* въ гѣмца не передѣлался, потому что они во-истину болваны и почти безъ души. Почему такъ и способны „управлять“.

Покореніе Россіи Германією будетъ, на самомъ дѣлѣ и внутренно и духовно,—покореніе Германіи Россією. Мы наконецъ изъ нихъ,—изъ лучшихъ ихъ,—сдѣлаемъ что-то похожее на человѣка, а не на италмейстера. А то за „италмейстерами“ и „гофмейстерами“ они лицо человѣческое потеряли.

Мы научимъ ихъ танцовать, музыканить и пѣть пѣсни. Можетъ быть даже научимъ молиться. Они за это будутъ намъ рыть руду, т.-е. пойдутъ въ каторгу, будутъ пахать землю, т.-е. станутъ мужиками, работать на станкахъ, т.-е. сдѣлаются рабочими. И будутъ зашматываться аптеками, чѣмъ и до сихъ поръ ни одинъ русскій не занимался. „Не призваніе“.—Будутъ изготовлять намъ „французскіе горчичники“, тоже—какъ до сихъ поръ.

Мы дадимъ имъ пророковъ, попытаемся дать имъ понятіе о святости,—что едва-ли мыслимо. Но хотъ попытаемся. Выучимъ говорить, пѣть пѣсни и сказывать сказки.

Въ тайнѣ вещей мы будемъ ихъ господами, а они нашими нянюшками. Любящими и послушными намъ. Они будутъ намъ служить. Матерьяльно служить. А мы будемъ ихъ духовно воспитывать.

Ибо и нигилизмъ нашъ тогда пройдетъ. Нигилизмъ есть отчаяніе человѣка о неспособности дѣлать дѣло, къ какому онъ вовсе не призванъ.

Мы какъ и евреи призваны къ идеямъ и чувствамъ, молитвѣ и музыкѣ, но не къ господству. Овладели-же къ несчастію и къ пагубѣ души и тѣла  $\frac{1}{6}$ -ою частью суши. И, овладѣвъ, въ сущности испортили  $\frac{1}{6}$  часть суши. Планета не вытерпѣла и перевернула все. Планета, а не германцы.

БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕРЕГИСЬ ГРУБЫХ  
ОЧЕРТАНИЙ. ДА БУДУТ КРАЯ ТВО-  
ИХ ТЕНЕЙ НА МОЛОДОМ И НЕЖНОМ  
ТЕЛЕ НЕ МЁРТВЫМИ, НЕ КАМЕННЫ-  
МИ, НО ЛЁГКИМИ, НЕУЛОВИМЫМИ  
И ПРОЗРАЧНЫМИ, КАК ВОЗДУХ,  
ИБО САМО ТЕЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  
ПРОЗРАЧНО, В ЧЁМ МОЖЕШЬ УБЕ-  
ДИТЬСЯ, ЕСЛИ ЧЕРЕЗ ПАЛЫЦЫ  
ПОСМОТРИШЬ НА СОЛНЦЕ. СЛИШ-  
КОМ ЯРКИЙ СВЕТ НЕ ДАЁТ ПРЕ-  
КРАСНЫХ ТЕНЕЙ. БОЙСЯ ЯРКОГО  
СВЕТА. В СУМЕРКИ ИЛИ В ТУ-  
МАННЫЕ ДНИ, КОГДА СОЛНЦЕ В  
ОБЛАКАХ, ЗАМЕТЬ, КАКАЯ НЕЖ-  
НОСТЬ И ПРЕЛЕСТЬ НА ЛИЦАХ  
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ПРОХОДЯЩИХ  
ПО ТЕНИСТЫМ УЛИЦАМ МЕЖДУ ТЁМ-  
НЫМИ СТЕНАМИ ДОМОВ. ЭТО СА-  
МЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ СВЕТ. ПУСТЬ  
ЖЕ ТЕНЬ ТВОЯ, МАЛО-ПОМАЛУ  
ИСЧЕЗАЯ В СВЕТЕ, ТАЕТ, КАК  
ДЫМ, КАК ЗВУКИ ТИХОЙ МУЗЫКИ.  
ПОМНИ: МЕЖДУ СВЕТОМ И МРАКОМ  
ЕСТЬ НЕЧТО СРЕДНЕЕ, ДВОЙСТ-  
ВЕННОЕ, ОДИНАКОВО ПРИЧАСТНОЕ  
И ТОМУ, И ДРУГОМУ, КАК БЫ  
СВЕТЛАЯ ТЕНЬ ИЛИ ТЁМНЫЙ СВЕТ.  
ИЩИ ЕГО, ХУДОЖНИК: В НЁМ ТАЙ-  
НА ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ ПРЕЛЕСТИ!

Д.С.Мережковский.

Воскресшие боги /Леонардо да Винчи/  
кн.6. Дневник Джованни Бельтраффио.

В следующем номере: стихотворения - Александра Скидана, Ларисы Патраковой, Владимира Яшке, Демьяна Кудрявцева, Всеволода Зельченко; проза - Игоря Шаралова, Андрея Столгова, Любви Красноперовой; "Дневник последнего Петроградского градоначальника" - генерала А.П.Балка; переписка П.Б.Струве, И.А.Бунина, о.Сергия Булгакова 1943-44 г.г.

Ответственный редактор номера

Алексей Гурьянов

В оформлении использованы фотографии М.Микишатьева и Р.Гова

По вопросам подписки обращаться:

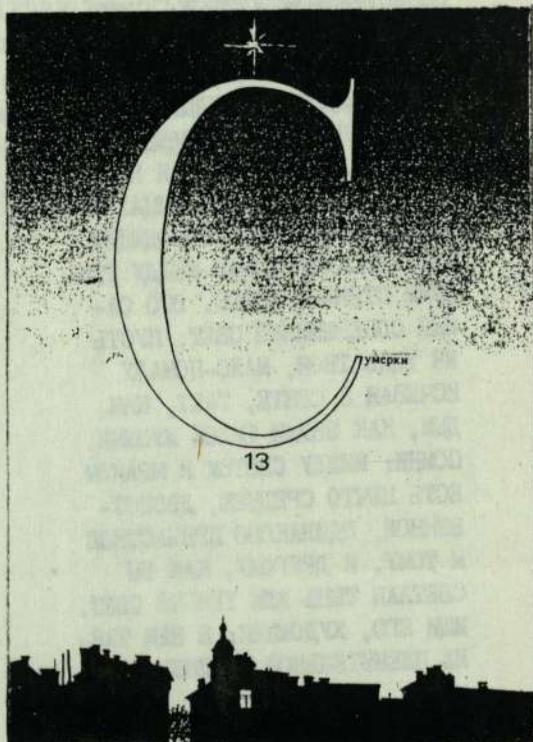
197136 Ленинград а/я 48

Телефоны:

310-45-75 /Алексей Гурьянов/

213-52-08 /Александр Новаковский/

Выпуск номера осуществлён при поддержке СКО "Нева" при Союзе Кинематографистов России



Представитель журнала за рубежом - Veronica Ahrens-Pulawski, Globus (A Slavic Bookstore) 332 Balboa street, San Francisco, CA 94118 USA. Tel (415)-668-4723.





САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1991